

Михаил ПОПОВ
г. Архангельск

СЛУЖИТЬ

Армейская повесть

*«Нет, пускай послужит он в армии,
да потянет лямку,
да понюхает пороху,
да будет солдат,
а не шаматон».*

(А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»)

Часть первая

1

Немец, припёртый штыком к воротам гаража, почти не сопротивлялся, только что-то мекал да подрагивал правой лопаткой, пытаясь отстраниться от острой, уже распоровшей шинельное сукно стали. Раскоряченные ноги оскальзывались и подгибались. Ища опору, он шарил по обшивке ворот, отчего на заиндевевших створах здесь и там оставались пятна от ладоней. И лишь когда ухватился одной рукой за большую дверную скобу, шататься перестал. Дрожь, однако, от этого не убавилась. Ненависть или страх его больше душили — кто знает. Но тряслось всё — и голова, и шинельные полы, повисшие, как крылья



мокрой курицы, и хлястик, болтавшийся на одной пуговице, который походил на заячий хвостик. Видок он имел жалкий, что и говорить. Но мне этого было мало.

— Повернись, — процедил я, слегка ослабив упор штыка.

Немец медленно и, опасливо вытягивая шею, стал поворачиваться. Из раскрытого рта тянулась слюна. Стальные зубы, прежде надменно и вызывающе сверкавшие, разом потускнели. Да и сам он стал каким-то тусклым, точно вытащенная на свет керосиновая лампа.

Почему его прозвали Немцем? Может, за костистость, за этот зазубренный профиль, усвоенный не иначе из сатирических агиток военной поры, где немцы — непременно сухопарые и горбоносые. Может, подразумевалась связь с поволжскими немцами, ведь он был из ближнего Поволжья. А может, имелись и прямые основания: гульнула матка с каким-нибудь фрицем, которые почти до середины пятидесятых обрелись в русском плену, вот и вылупилось это отродье, в метриках записанное Фёдоровичем.

Когда он наконец повернулся и прижался лопатками к воротам гаража, штык карабина упёрся ему в грудь.

— Ну что, — сказал я, сплёвывая ему под ноги, — хана тебе! — и перешёл на язык оперативного протокола: — Попытка вскрыть законсервированный бокс, в котором находятся передвижные радиостанции...

Глаза его пучились, оторопь мешалась с ненавистью.

— Пальчики твои, — продолжал я, — на всех дверях. И на ручке тоже... А пломбу, — тут я сделал паузу, — я сам сковырну штыком...

В бессильной ярости Немец дёрнулся, зубы его клацнули. Однако укусить меня ему было слабо — я осадил его, уперев штык-нож меж ключиц. Остриё ужалило холодом, он вскинул руки, пытаясь защититься, полы подрезанно-укороченной шинеленки при этом кургузо встопоршились.

— ...Плюс попытка нападения на часового, — продолжил я протокольный перечень. — Плюс отягчающие обстоятельства — нетрезвое состояние, в котором ты, сучара, кстати, и рулил... Что в итоге?

Тут я опять сделал паузу, достойную артиста

если не МХАТа, то, по крайней мере, здешнего областного театра.

— В итоге трибунал. Пять лет дисбата. Это минимум... Как оно?

Немец опять дёрнулся, обнажив стальные зубы. Дырявить ему горло в мои планы не входило. Поступил иначе. Резко принял карабин на себя и тотчас сделал выпад, пихнув штык ему под мышку, да при этом, кажется, даже хекнул. Упражнение моё мне понравилось. Получилось не хуже, чем в учебном фильме. А результат превзошёл все возможные ожидания. Шинелька, приколотая к дверям гаража, теперь больше походила на мешок, повисший на крюке, даром что в этом мешке всё ещё находилось семьдесят килограммов сволочатины.

Немец, бледный, как заиндевелые ворота, покосился на штык, который торчал возле самих рёбер, и перевёл взгляд на меня. Хмель из него вылетел окончательно. А из глаз, всё ещё полных ненависти и недоумения, наконец потёк страх.

Дошло, значит, усмехнулся я. То-то! А ведь ещё десять минут назад ты, гад, и подумать о таком не мог.

Десять минут назад всё у Немца было «ништяк» и «тип-топ». Он приехал, как всегда, под вечер с каких-то ходок-ездок и, как всегда, поддавший. Это понятно было даже по сигналу клаксона, нетерпеливо-визготному. Завидев часового, он, как всегда, высунулся из кабины, чтобы обматерить «салабона», который, по его понятиям, не слишком живо открывает ворота, а признав в часовом меня, усилил раж. Мало того, въезжая в створ, он намеренно вильнул, направив колёса «газона» в мою сторону, и завьюженное крыло грузовика больно зацепило мою правую руку, сжимавшую ремень карабина.

Всем своим видом Немец выражал превосходство и самодовольство, точно фатером его и впрямь был какой-нибудь спесивый баварец, который летом 41-го года победно пёр на своём бронированном «опеле» или «хорхе» по дорогам Остляндии. У «сынка» масштаб был, конечно, не тот, но вольницы, безнаказанности он хватил тоже с избытком, оттого, видать, и головёнка кружилась, и грудь выгибалась «опельным» колесом. Как же! Он ведь — водила, можно сказать, личный шофёр ротного старшины. Разве чета ему все прочие сослуживцы, которые, как на

привязи, торчат либо на узле связи, либо в карауле, либо в казарме?! То ли дело он. Стоял в гарнизонную прачечную, потом в горкомхоз за мётлами да лопатами. В военторговском магазине за здорово живёшь разжился блоком сигарет «Стюардесса», на продскладе хорошо остограммился да попутно бабёшку охочую завалил... Чем не житуха? Да что там говорить! Ему даже на поверку вечернюю появляться не надо: если день был на колёсах, старшина в таких случаях вольную даёт.

Полный самодовольного куража, который пёр из него, как содержимое давно не чищенного ротного нужника, Немец лихо тормознул перед крайним боксом и вылез из кабины. Разломав поясницу, он неспешно открыл ворота и широко и громко зевнул, блеснув зубной сталью. Жрать не хочу, пить не хочу, тёлку не хочу — было написано на его физиономии — завалюсь спать. С этой мыслью, загнав «газон» в бокс, он, видать, сунулся в закуток, где у него была устроена лёжка, но, не обнаружив там пружинных тюфяков — своей постели, — вылетел наружу.

Слов у Немца, понятное дело, не было — один мат. Естественно, он предназначался мне. Раз часовой, то должен знать, что творится на охраняемой тобой территории — такова была подоплёка этих тирад. Вступать с Немтырем в прения я не счёл нужным. Объяснил жестами. Не снимая трёхпалой рукавицы, большим пальцем показал назад, дескать, спрашивай там — кто брал, тот на ПРДЦ, а следом, уже «курковым» — на ближний бокс, куда кинул те коричневые матрасы.

Обнаружив искомое, Немец погрозил кулаком, мол, разберусь после, сейчас нет охотки, и двинулся к боксу. Вот тут-то я его и прищучил, приперев штыком.

— Ну что, курва, свистать всех наверх? — я достал сигнальный свисток. — Или как?

Кадык Немца торчал, как второй нос. И тот и другой так заложило, что он не мог издать ни звука ни одним отверстием. Только щёлкал зубами.

— Когда тёмную устраивать, так ты горазд... Когда всемером на одного... Когда прикручивать к спинке кровати... Когда спички горящие меж пальцев... — Я перевёл дух. — А чуть прижали тебя — бздон пошёл... Шакал ты облезлый... Дерьмо немецкое...

Последнее я добавил, вспомнив безответного деревенского паренька из нашего взвода, Ваню Уликина — Немец постоянно задирает его и называет «вотяком». И до того мне стало обидно за эту малую народность, что я не только перевёл свой гнев в национальную плоскость, назвав Немца «дерьмом немецким», но и перевёл это, добавив «меньшенкопф», хотя немецкого никогда не учил.

— Ладно, — подводя итог, сказал я, — свистеть не буду. Но... — Тут опять для усвоения урока понадобилась пауза, — заруби, гад, на своём шнобеле. Если ты ещё раз науськаешь на меня свою кодлу или попытаешься что-то против меня сделать, знай, что на следующий день ты — труп. Мои земляки, — а их здесь на круг больше взвода наберётся, — закатают тебя вместе с твоей таратайкой в мутер Волгу.

Насчёт «мутер Волги» вырвалось неожиданно для меня самого. Но красиво! А про взвод я сказал обдуманно. На войне как на войне. Пусть изрядно и преувеличил численность земляческих боевых порядков.

— Ты понял меня?

Высунув язык, Немец закивал.

— Понял? — я угрожающе повёл штыком.

— Ы-ы-л, — у него началась икота.

— Нет, ты хорошо понял?

— А-а-л...

Большого от него всё равно было не добиться.

2

Утром следующего дня, сдав караульную смену, я отправился в казарму. Она располагалась в массиве окружного узла связи кварталах в четырёх от передающего радицентра, где я нёс караул. Разводящих у нас не было. Смену сдал в присутствии прапорщика Ермошина, начальника ПРДЦ, замкнул штык и, вскинув карабин на плечо, пошёл себе в роту.

Хорошо быть вольным стрелком, идущим вне строя самостоятельным ходом. Можно не спешить, можно задрать голову и глядеть на пролетающих ворон, обилие которых предвещает оттепель, можно письмецо опустить в неподцензурный почтовый ящик. А уж с карабином на плече и вовсе благодать. Девчонки на тебя погля-

дывают. Молодые жёнки проявляют не только любопытство, но, чудится, и завлекают, играя глазами. Мужики встречные без слов дают закурить да ещё и в запас суют: на то ты и стрелок, что имеешь право стрелять, в том числе... сигареты. Ведь армия — любимое детище народа. А уж «Союзпечать» готова, кажется, весь дефицит отдать.

Жванецкий лет через десять про танк бухтел: вот, мол, хорошо на танке подъехать к продовольственной или какой иной торговой точке и вежливо осведомиться о цене: «Ско-ко? Ско-ко?» Ну, тёзка, ты бы ещё «СС-300», ракетный комплекс, под витрину пригнал. К чему такие излишества?! Лично мне вполне хватало моего старенького СКС № 02535597.

Подойдешь к киоску, прислонишь карабин к прилавочку, чтобы он чуток целил внутрь («О це дульце», — как говорил в учебке старшина-хохол), и вежливо спросишь «Литературную газету». «Литературка» в те поры была жутким дефицитом. Подписаться на неё было практически невозможно, даже если займёшь очередь с вечера накануне дня подписки. В организациях и на предприятиях подписка на «ЛГ» разыгрывалась в лотерею. Члены партии получали её в нагрузку к стопке идеологических журналов: «Политическое самообразование», «Партийная жизнь», «Коммунист», а также «Молодой коммунист». То же самое наблюдалось и в киосках. Они выглядели такими идеологическими бастионами, где обложки партийных изданий выставлялись наперёд, как броневые щиты. Киоск, который я «брал на приступ», исключением не был. Но «моя» киоскерша о нагрузке и не заикалась. На моё деликатное обращение она запускала руку под прилавок, беспрекословно извлекала из дефицитных запасников «Литературную газету» и, слегка принакрыв этим органом моё «дульце», вежливо улыбалась...

Из-за танковой брони слышу голос Жванецкого, тоном варяжского гостя он цитирует сборник идей Чучхе: «Желание помочь нашей доблестной армии в лице рядового бойца, ежечасно повышающего боевую и политическую подготовку, свойственно каждому истинному патриоту!» Да нет, тесачок, с той киоскершей всё было гораздо проще. У неё служил сын, причём, как оказалось, в моих северных местах. Это же любимое занятие генералов — тасовать карты

(имею в виду оперативные), загоняя южан на север, а северян в пустыню. Вот я и успокаивал мамашу, что белые медведи у нас по улицам не ходят, что летом бывает тепло, а подчас и жарко...

Ротный каптёр Гагик, неся впереди себя нос, свой зазубренно-горбатый, как пик Коммунизма, шнобель, открыл двери оружейки с лендой и зевотой — я, видите ли, потревожил его первый после завтрака сон, который он созерцал в тиши каптёрки.

Сюда в каптёрную заводь Гагика определил старшина Шевандо. Это было сразу на первом году службы. Место тёплое — кому же его занимать как не представителю знойного юга? Либо Гагику, либо Гиви, либо на худой конец Пилипенке. Ведь у нас интернационал, дружба народов. Ну, как тут не порадеть батону Гураму, чей сын призван на службу, тем паче что в баулах гостя заздравно булькает чача. Иль батьку Пилипенке, который приехал на присягу своего хлопца со щирой Полтавщины: вон як густо шибает чесночком из его палагущек, старшину Шевандо не пидманёшь — не иначе там домашняя ковбаса альбо сало.

Поставив в пирамиду свой карабин и распившись в журнале, я прямиком отправился в столовую. Рота уже отзавтракала. Сидя в одиночку за миской перловой «шрапнели», я стал перелистывать «Литературку» и тут во второй тетради наткнулся на военный очерк. Речь шла об Н-ской воинской части, дислоцирующейся где-то за Уралом, где с честью и старанием служат бойцы, призванные в армию из разных концов страны. И до того там здорово всё было описано, до того у ребят идёт насыщенная боевая и азартная служба, что я даже позавидовал. Надо же! Прямо-таки солдат Иван Бровкин в конце одноимённой картины — дружба, взаимовыручка, товарищество и строгая опека отцов-командиров. Разве не о таком думалось, когда собирался в армию?!

Вернувшись в казарму, я завалился спать — полностью шесть часов старшина не даст, но до обеда не тронет. Мне очень хотелось спать — сутки в карауле сказывались. Однако сон не пошёл. Я лежал, ворочался с боку на бок, а сна не было. Вчера я решил на шаг, который может обернуться новыми, ещё неизвестными испытаниями. А ещё меня будоражил этот очерк, который по-

пался на глаза: повезло же ребятам, служат в нормальной части, не то что я... И тут, само собой, потянуло на воспоминания.

3

Меня забрили в начале мая. Должны были ещё прошлой осенью, сразу после окончания университета. Но нашу команду, в которой было большинство моих одногодков-переростков, выпускников вузов и даже уже молодых отцов, почему-то задержали, отложив призыв до весны.

Мне ждать не хотелось. Душа рвалась в даль. Редакция, где я работал, не то чтобы осточертела, нет — заочная учёба и работа хорошо совмещались меж собой. Но вот учёба осталась позади, я стал свободен, и душа потянулась на волю. Редактор был в досаде — в коллективе вырос дипломированный специалист, его назначили завотделом, а он дёру даёт. Разве это порядок? Стыдил, увещевал, не желая отпускать, предлагал компромисс: похлопотать о месте во флотской газете, дескать, дадут мичмана, станешь военкором, год отслужишь, а потом — назад. Но я упёрся. Я почувствовал, что замкнул какой-то житейский круг, повторяться не хотелось, и однажды, пошлав по почте заявление об уходе, махнул в Заполярье.

Почему Заполярье? Чего меня именно туда понесло? Отчасти, конечно, случайно — в одной из тамошних геологоразведочных партий работал бывший коллега, который послал мне приглашение в пограничную зону — без этого документа на побережье Северного Ледовитого океана было не попасть. Но, рассуждая трезво, меня, опьянённого долгожданной свободой, куда-то всё равно бы повлекло. Ведь это же в крови молодого человека: испытать себя, отдать некий долг если не Родине, дабы не упрекнули в высокопарности, то хотя бы своей юности. Иначе останется ощущение житейской незавершённости.

Примером тому — Антон Павлович Чехов, устремившийся на Сахалин. Казалось бы, человек при деле, добросовестно исполняет свой общественный и профессиональный долг — пишет прозу, публицистику, пользуется как земский врач своих пациентов. Однако ему этого мало. Возраст-то в переводе на советский язык — комсо-

мольский. Вот и потянуло в несусветную, даже и по нынешним, сжавшим пространство временам, ойкумену. На незримых крыльях сострадания, милосердия и любви.

Молодняк во все времена устремлялся в очарованную даль (чем, кстати, в советские поры умело пользовались партийные функционеры). Эта тяга, видать, сидела и во мне, доставшись от поморских да казацких пращуров. Но толчком к этому, вероятно, послужил один случай.

Было это в походе на крейсерской яхте «Аэгна», которая целый месяц блуждала по Белому морю. В тесноватом домашнем, но приполярно-заполярном море мы относительно благополучно намотали на лаг 900 миль. Предстоял последний переход с Соловецких островов в Двинской залив. И надо же было такому случиться, что именно на завершающем этапе на наш парусничек обрушилось ненастье. Не помню, пел ли уже Высоцкий про «шторм 9 баллов новыми деньгами», только нам досталось не меньше: шторм был свирепый и долгий. Правда, моряк-профи, мой сосед, потом скептически усмехнулся, когда я назвал силу ветра, он же пересекал Атлантику, бывал в «ревуших сороковых». И всё-таки одно дело поплёвывать за борт с многоэтажки балкера или лесовоза, совсем другое — находиться посреди ревущей стихии на маленькой углой скорлупке, которая протекает и уходит из-под ног...

Двое суток продолжалась штормовая свистопляска — это валяние вдоль и поперёк, хлестание в хвост и в гриву. Мне хватило уже начала — скис в первые же сутки. Я лежал пластом на своей банке. Банка располагалась по правому борту, на который валилась под напором бешеного норда наша яхтёнка. Электропомпа вышла из строя. Откачивать вручную не было сил. В итоге я уже наполовину лежал в воде. Подо мной бугрился иллюминатор. Устремлён он был на дно, оттуда, из чёрной пучины, ухмылялись какие-то чудовища, а может, сон моего воспалённого разума, как говорил Гойя, порождал чудовищ. Однако мне до них не было никакого дела. Меня охватило полнейшее равнодушие. Из головы вылетели все мысли, словно их никогда там и не водилось. Я перестал чесать изъеденное солью тело, настолько притупились ощущения. Да что там мысли, чувства и ощущения. Случись оверкиль или пробоина в корпусе, я, ка-

жется, не пошевелил бы и пальцем для своего спасения. Наступил, похоже, мой предел.

Хвала кэпу и старпому — опытным мореходам, мы всё-таки одолели передрыгу. В конце вторых суток ветер стал стихать. А ещё через сутки, измученные стихией, мы наконец ступили на матёру. Я ликовал вместе со всеми. Но это понимание, что мне был показан предел, видать, крепко запало в сердце. Я познал его, свой предел, но был не согласен с ним. И когда появилась возможность поставить новую «планку», я рискнул.

Лёжа теперь в армейской койке, я вспоминал, как проснулся первый раз в балке на буровой и не мог оторваться от рундука, так примёрзла майка... Вспоминал, как в двух шагах от камералки меня накрыла внезапно пурга. Я оказался в коконе снега и бился, как, наверное, бабочка в сачке, пока вернувшийся рассудок не приказал остановиться и переждать заряд... А ещё вспоминались ночные вахты. Как мы с Володькой Леушевым, моим буровым мастером, в 30-градусную стужу готовились к забурке на новой точке и таскали к морской иордани толстенные гофрированные шланги. Обледенелая скульптурная группа называлась «Лаокоон и его сыновья борются с морской гидрой». Только Лаокоона с нами не было, отца...

О эти заполярные буровещские ночи! Они так выматывали и валили с ног, что я засыпал, едва добравшись до балка и не успевая содрать одежду. Однако минула неделя, прошла другая, мало-помалу я втянулся, стал привыкать, сбрасывая с себя городские привычки, словно ящерка — старую кожу. Появился интерес: и к окружающим, и к местам, и к новому делу. Да не только интерес — и азарт. Ведь бурение — это загляд в недра, «езда в незнание» или, по крайней мере, как рыбная ловля. После каждого подъёма бурового снаряда снимается керн — цилиндрические стержни породы. Ну-ка, что там нынче принёс невод: тину морскую или золотую рыбку? Ящики с керном тащишь в камералку, где геолог-специалист делает первичный осмотр. «Золотой рыбки» на нашей буровой не предвиделось — мы были нацелены на более редкие ископаемые. Но удача не обошла. На той самой скважине, которую мы начинали с Володькой Леушевым, забуривая её лютой февральской ночью, в керне обнаружился молибден. Его оказалось немного —

меньше процента. Но потому он и считается «редкоземельным элементом». Тех десятых процента молибдена вполне хватило, чтобы оценить скважину как промышленное месторождение. И теперь, когда перегорает лампочка, я встряхиваю оборванную нить, в которой основа — молибден, и всякий раз вспоминаю о «моём» месторождении, это вроде зачатки.

В геологоразведке я планировал осесть на полтора-два года. Говорю с уверенностью, потому что в работу втянулся и хотел пережить здесь все времена года. Но тут, потеснив Министерство геологии, предъявило на меня права Министерство обороны. И, выдернутый призывной повесткой с заполярной буровой, я отправился на военную службу.

4

Вагон гулеванил до самой ночи. Вчерашние инженеры, конструкторы, а с ними и аз грешный прощались с гражданкой. В Москву прибыли поутрянке. Похмелье и недосып сказались на настроении. Перешли с Ярославского на Казанский. И тут как назло к нашей команде подвалил какой-то досадливый москалёк. Молодой, безусый — то ли вчерашний сержантик, то ли какой-то упёртый комсомолёк, он ни с того ни с сего начал нас воспитывать, точно мы совершили что-то сверхнепотребное. Ну пили пиво из горла, ну говорили громче, чем принято, ну толкались, словно пацанва, но ведь, загнанные на край перрона, мы никому не мешали. Нет, подвалил, пальчиком укоризненным стал водить перед носом, зараза такая. Что оставалось делать? Пришлось в свою очередь поучить, сбив столичную спесь, а до того — шапку. Отвалил, ковыляя и сплёвывая красную юшку. Так ведь сам напросился, миляга!

Но тогда об этом, понятно, не думалось. Думалось о грядущем. Мы ехали к месту службы. Место уже знали. «В глушь, в Саратов, — твердили начитанные годки и добавляли — к тётке», — не ведая ещё, что это за тётка.

...И вот первое утро в тёткиных палатах. Четырёхэтажную казарму, выстроенную каре, с востока пронизывают лучи солнца. «Р-р-р-ота, под-ъём!» Со сна все чумовые. Пять минут

на гальон. Снова рык: «Р-р-рота-а, на зарядку!» Десятки, сотни пар сапог гремят по ступеням. Рота, вторая, третья... Нет — толпа, стадо, табун... Новая команда: «Бего-ом... арш!» (Длинношее, голенастые, худые, рыхлые, всякие. Все одинаково одеты — синие майки, чёрные сатиновые трусы, ноги засунуты прямо в кирзачи. И ещё у всех одинаково безумные шальные глаза. Табун напрягается. И тут из всех репродукторов вырывается голос Карела Готта, последний шлягер «пражского соловья» — «Фестиваль». «Та-тата-та-тата...» Точно бич погонщика тарпанов.) И табун, послушный чужой воле, пыля и грохоча подковами, устремляется по бесконечному квадратному кругу. Полторы тысячи пар сапог. Полторы тысячи глоток. Полторы тысячи пар безумных глаз. Пыль, запах пота, пена из подмышек, запах скомкавшихся в сапогах портянок. Один виток, другой, третий... В печёнках пёкло. В глотках тоже. Рты перекошены. А желторотый сержантик, который всего на полгода раньше попал сюда служить, скалится. Он доволен. Это его день. Он дождался праздника...

Он и сейчас у меня перед глазами, этот маленький младший сержантик. Глаза синие, восторженные. Светленький чубчик. Весь такой ладный, подтянутый. Перед ним рядовые, у которых за плечами вузы, кое у кого семьи, дети... А он ими командует. Ну разве не восторг?!

Как он упивается своим величием, своим всемогуществом! Как он понукает и понуждает! И как ликует! «Кочка по ниточке. Рядовой Семушин, вы не выполнили моего приказа. Наряд вне очереди. Будете чистить туалет». Семушин, хлипкий очкарик, растерян и подавлен. Сержантик ведёт его к месту работы, предварительно повелев захватить «туалетные принадлежности». Наше отделение, как и семушинское, равняет койки. Всё вроде «по нитке». Работу надо сдавать. А сержантика нет. Я не выдерживаю, иду в гальон. И что я вижу? Мой ровесник Витя Семушин, с отличием окончивший пединститут, учитель словесности, стоит на коленках перед одной из дыр ротного нужника и, бессловесный, собственной зубной щёткой надраивает поржавевшую местами лоханку. А над ним стоит маленький младший сержантик, этаким све-

женький наполеончик. Подбородок его горделиво задран, в руке берёзовый хлыстик, которым он шлёпает о ладонь.

Я человек не задиристый, терпеливый, особенно когда речь идёт обо мне. Но тут не выдерживаю. Глаза застилает ненависть. Я медленно подхожу к сержантику и впечатываю в его задранную челюсть свой кулак. С петушиным квохтаньем он летит в дальний угол и тычется носом в одно из «очков». «Пошли, Витя», — говорю я. У меня нет ни малейшего сомнения, что Семушин поднимется, встанет с колен и пойдёт следом. Увы! В дверях я оборачиваюсь и вижу, что Витя испуганно прячет от меня свои окуляры и ещё яростней принимается тереть собственной зубной щёткой гальонную дыру. Я недоумённо гляжу на его стриженный затылок, на его сведённые в ужасе лопатки. Неужели за два казарменных дня его так сломали? Или он от природы такой? Что же тогда он даст своим ученикам? Или у него и будут такие ученики? А как же быть с гуманизмом отечественной словесности? Или только в таком состоянии и можно объяснять образ незабвенного Макара Деушкина?

Перевожу глаза на сержантика. Он отлепляется от «очка» и поднимает свои синие глаза. В них обида и недоумение. Он похож на пацана, который выходит из игры, потому что другой нарушил правила.

Вернувшись после дембеля на «гражданку», я повёл в газете судебную тему. И вот на что обратил внимание. Среди тех, кто совершил тяжкие преступления в возрасте 20-25 лет, больше половины оказались бывшие младшие команды — такие вот опоённые беспределом бывшие сержантики. Мой приятель психиатр пояснил: «Власть по плечу не каждому, особенно в молодом возрасте. В башке две извилины, моральные установки в эмбриональном состоянии, о культуре вообще не говорю... Навесят ему на погоны в его восемнадцать с половиной две «сопли», он и возомнит себя заместителем Бога. Как же — командир, хоть и младший! Так утверждает устав, так твердят отцы-командиры, взводные и ротные. Им же это удобно — меньше хлопот, если сержантик всех зажмёт в кулак. За полтора последующих года эта установка закрепится. Вернётся такой на «гражданку» — и пропал. Там другие «правила игры». То,

чего он в армии достигал одним словом, кивком головы, взглядом, на гражданке приходиться добиваться совсем иными средствами: просьбами, уговорами, улыбками, личной расторопностью, готовностью. Он к такому не привык. Адаптация на нуле. И если не сумеет приспособиться, переломить себя, то в один критический момент обязательно сорвётся...»

5

Сержантик, разобиженный тем, что ему нарушили долгожданный праздник, понятно дело, настучал. Меня вызвали в канцелярию. Если бы я был ровесником большинству моих сослуживцев, то разговор, скорее всего, был бы короткий: отвалтузили бы, не фиг делать. Но личное дело, в котором была расписана моя какая-никакая биография, сдерживало ярость замкомандира роты и старшины. Не решаясь пустить в ход кулаки, они ограничились громогласной разборкой, матеря меня в две глотки. Из канцелярии я вышел, получив три наряда вне очереди. Два вечера подряд чистил на полковой кухне картошку, а к третьему не поспел, потому что меня турнули в другую роту.

9 рота, в которую меня спровадили, стояла за городом, в дачно-деревенском предместье. Военный городок был обособлен: ряды огромных армейских палаток, барак кухни, офицерские домики, навес автогаража — всё было выстроено по армейскому ранжиру, но забором не обнесено. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло: из денника, продолжая табунный ряд, я попал в неогороженную леваду, где было куда как вольготнее, нежели в глухом полковом загоне.

Тут, на свежем воздухе, не очень разнообразном, зато регулярном питании, чётком (без дружеских посиделок и застолий) режиме я настолько окреп, что не знал, куда деть силы. Никто не заставлял, но где-то с августа я по своей охотке стал нарезать круги на стадионе. До двенадцати кругов, бывало, накручивал без передыху. Во какое здоровье попёрло!

Командиром нашего взвода был лейтенант года на два моложе меня. Этаким красавец, о каких говорят — кровь с молоком. Не знаю, как

насчёт молока, но белянку он жучил, кажется, с подъёма до отбоя. А ещё лейтенант по причине своего колоритного облика был записной бабник. Окрестные молодки, скучающие от одиночества дачницы, вытребованные из города девахи — вот тот неограниченный контингент, которым он пользовался. И это при том, что был женат и его законная супруга время от времени наведывалась в наш лагерь, сопровождаемая двумя малыми чадами. Любимым местом для любовных утех лейтенанта была цветочная клумба, разбитая меж офицерских домиков. Видимо, по прихоти крылатого денщика — неугомонного амура — она олицетворяла для лейтенанта райские кущи.

Знал ли выпускник военного училища радиосвязи на должном уровне свою профессию, не знаю. Где мне, дилетанту, было это понять. Но лексика лейтенанта вносила кое-какие сомнения: «Изобретатель товарищ Эдиссон...», «Товарищ Попов Александр Степанович в одна тысяча восемьсот девяносто восьмом году...», «а вот товарищ Бончар-Бруевич...»

По утрам, утомлённый бурной вакхической ночью, лейтенант призывал пред свои тёмные очи сержанта, своего заместителя, и меня. Сержанту — дородному парнишке с коленками внутрь — он поручал общий порядок во вверенных ему, лейтенанту, войсках. А мне как дипломированному бойцу идеологического фронта — политическую подготовку.

Мои сослуживцы — выходцы из Украины, Казахстана и других, в основном сельских окраин Союза — были мальцами без малого на десять лет моложе меня. Вчерашние школяры, они мало что смыслили в политике и разнополярности мира. Стоя перед картой земных полушарий, я очерчивал указкой ареалы стран НАТО, СЕАТО, СЕНТО и на доступном для них уровне разъяснял, куда нацелены те вооружённые силы. А ещё объяснял, кто, помимо нашей державы, им противостоит, и показывал на карте страны, чьи вооружённые силы были объединены Варшавским договором. Честно говоря, в сплочённость братских демократических армий я не особенно верил. Вся русская история свидетельствовала, что и немцы (пусть теперь живущие в ГДР), и поляки, и румыны — были нашими постоянными недругами. То-то не прошло и полутора десятков

лет, как это искусственное образование безвозвратно рухнуло.

Другое дело — собственные вооружённые силы. Ведь я же по сути добровольно пошёл в армию. И служить, а не отбывать назначенный по закону армейский год. А служить хотелось в крепкой, сильной и надёжной армии — такой армии, которая в случае чего дала бы достойный отпор всем этим «натам» и «сеатам». И тут само собой подразумевалось, что во главе подразделений — батальонов, рот и взводов — будут стоять умные, волевые и целеустремлённые командиры, за которыми — и в огонь, и в воду... А что я увидел?

Тот же наш взводный — лейтенант Пряхин. Как бы он повёл нас, своих бойцов, в атаку, если к своим двадцати четырём разучился бегать. Один раз нам были устроены, видимо, положенные по программе тактические учения, больше похожие, впрочем, на школярскую «Зарницу», так на взводного неловко было глядеть. До высотки, которую мы штурмовали, вскинув карабины, он ещё дотрюхал. А подняться для победного фотокадра наверх бедолаге дышалки не хватило, до того оплыл в загородных посиделках и поваялках.

Другой типаж из времён учебки — старлей, замполит роты. Помню его в двух образах. Один — тщательно отутюженный, в блистающих хромо-вых сапогах, на переносице тонкая золотая оправа, на плечах золотые погоны с голубыми просветами. Ни дать ни взять — кандидат в космонавты. Если встретить в городе. Кто же знает, что сей старлей служит в учебном полку связи, к которой не имеет ровно никакого отношения, потому что окончил областной пединститут по специальности «учитель географии». Вот он стоит перед пацанами-первогодками и с видом значительным и строгим внушает основы Кодекса строителя коммунизма: быть честным, добросовестным, трудолюбивым... Не старлей, а верный ученик верного ленинца Леонида Кулича... И другой образ — через три месяца. Рота на колхозной ниве убирает картошку. Солдатики корячатся в оплывших глиняных бороздах, а господа офицеры и прапорщики, сидя на стерне, жуют казённый спирт. Они довольны: приятное сочетается с полезным. Треть собранной картошки переключает в «сидоры» солдатиков, и те, как старательные

пчёлки, потянут этот «нектар» в их личные улыбки — погребки. Ну как тут не радоваться! И они радуются. От радости да ещё от вольницы иные из них перебирают через край и к концу солдатского упряга не держатся на ногах. Доблестный замполит валяется в борозде, заблёванный с сапог до полевых погон. В той же зловонной жиже поблёскивают его золотые очки.

Ещё один типаж: замкомандира роты, капитан. Худощавый, внешне невидный, объясняет солдатикам — этим восемнадцатилетним пацанам — азы экономики. Той самой, которая чуть позже станет очень экономной. Сам он в предмете не шибко что смыслит, но, то ли для «оживляжа», чтобы донести желаемое до слушателей, то ли чтобы обрести некий авторитет, подкрепляет свою косноязычную речь сальными анекдотами. Синонимами труда и капитала тут служат мужик, находящийся в числителе, и баба, пребывающая в знаменателе.

И ещё запомнилось одно: манеры и привычки ротных офицеров перенимают здешние сержанты. Это напоминает машинописный текст, отпечатанный под копирку, где копия, само собой, тусклее и невнятнее, а эта к тому же — «несёт» ещё отсебятину.

Оставленные в учебном полку после завершения учебки сержанты — заместители командиров взводов, запомнились какой-то выпренностью, манерностью, если не опереточностью. Один ходит с хлыстиком, изображая киношного белого офицера, хотя «тянет» только на его денщика. Другой в тёмных дымчатых очках — прямо-таки тexasский рейнджер, только шляпы широкополой да того, что под нею, не хватает. Третий — речевик: щеголяет словом «военный»; не рядовой, не военнослужащий, а именно военный. Провинившегося бойца, которого старше всего на полтора года, с видом умудрённого генерала любит пытаться словами: «Что, военный, службу узнал?»

Единственный, кто выделяется из этих «ролевиков», оставаясь самим собой, это наш помкомвзвода — сержант Летягин. Плотный, коренастый, лет двадцати парень, он был призван на службу после техникума. С ним можно было потолковать о книгах, о кино и даже о театре. Однако и Летягин однажды, в моём понимании, как-то поблёк, потерял се-

бя, если не сказать пал. Было это под конец учебки, уже в сентябре, на той самой картофельной страде. Когда картофель с отведённого поля был собран в бурты и часть клубней уже увезли колхозные грузовики, сержант раздал нам вещевые мешки и приказал их наполнить. Он не скрывал, что картошка предназначена для офицеров и прапорщиков, а ещё намекал, что от сегодняшней нашей добросовестности зависит дальнейшее наше назначение. Я тащить «сидор» с картошкой наотрез отказался. Как сержант Лetyагин ни уговаривал, ни убеждал, ни страшил — не понёс. Причём обошёлся без всякой демагогии, дескать, как же ты, комсорг, потворствуешь воровству. Довод у меня был профессиональный: «О несунях я фельетоны в газете писал. Понесу — значит предам профессию. А этого ты от меня не дождёшься!»

Потом, уже перед моим отъездом, Лetyагин, вроде как оправдываясь, утверждал, что учебка расхолаживает — и офицеров, и прапорщиков, и сержантов, всех. Вот попадёшь в боевую часть — там совсем другое дело. Я кивал, мол, посмотрим, да что-то не особенно верилось.

6

Саратов я покинул в начале октября. Мы были последней группой в учебке, которая ожидала назначения. Уже выпал снег. В летних одинарных палатках, само собой, колотун. Спали в шинелях, укрывшись тремя одеялами, благо лишних стало много.

От Саратова до Куйбышева — места назначения — вёрст четыреста. Прибыли туда поздним вечером. С вокзала поехали на дежурном «уазике». И вот проходная ОУС, окружного узла связи — места прохождения дальнейшей службы.

Сержант, заместитель дежурного офицера, ведёт нас, троих, в расположение части. По пути поясняет, что казарма — кирпичное двухэтажное здание слева — на ремонте. Все подразделения пока в спортзале — и караульная рота, и рота связи, и хоззвод.

Здание узла — огромное, старой, может, даже дореволюционной, постройки здание — напоминает литеру «П», только ножки корот-

кие. Нам — в крайнюю от проходной «ножку». Поднимаемся на третий этаж. Сержант подсвечивает фонариком.

— Пришли.

Выше, в сумраке межэтажной площадки какая-то возня — хеканья и всхлипы. Фонарик в руках сержанта устремляется туда. Несколько фигур в нательных рубашках, скомканное одеяло...

— Сюда, — отводит фонарик сержант и открывает дверь. Перед нами огромный, подсвеченный двумя боковыми ночниками зал и ряды двухъярусных коек. Всё вроде как в учебке. Но явно не всё...

* * *

Утром моё первое в роте связи построение. «Деды» (хотя какие они к чёрту деды — я их старше на шесть лет) уже прознали, что служить мне год, дембельнущь одновременно, а то и раньше иных, и потому раздражения своего не скрывают, норовя подтолкнуть и указать место. Особенно ретив один из них — со стальными зубами. Оглоблей его, что ли, навернули по едальнику?

— Вперёд, инженер, вперёд! — металлически цедит он. Чуть кошусь. Похоже, это один из тех, кто минувшей ночью участвовал в «тёмной».

С утра нас, новичков, повели на передающий радиоцентр. Моим младшим спутникам тут нести радиовахту, а мне — караул. По мнению начальства, меня на должность радиооператора ставить нерезонно — не успею, мол, выучиться, как на дембель. Точно нельзя это было предусмотреть в самом начале призыва.

ПРДЦ отгорожен от «гражданки» бетонным забором, его территория занимает целый городской квартал или большую часть его. Справа от ворот пустое пространство, слева и прямо — боксы гаража, а посередине собственно ПРДЦ. Это деревянное одноэтажное здание, оштукатуренное и покрашенное в грязновато-серый цвет. Обойдя его снаружи, а потом потолкавшись внутри, я заключил, что оно похоже на самолёт. Да и то! Какой же конструкции должна быть служба наземной авиации?! Только самолётной. Крыльцо с тамбуром — кабина; зал, где слева и справа аппаратура, — это два крыла, коридор, что

прямо, напротив входа — это фюзеляж; а в конце — закрылки: слева аккумуляторная и дизельная, обеспечивающая автономное питание, а справа кочегарка, постоянно дающая тепло. Ни дать ни взять — тяжёлый бомбардировщик, этакая летающая крепость ТБ-5, только что без пушек и пулемётов.

Впечатление, что находишься в самолёте, дополняют звуки. Скороговорка цифр, зуммер морзянки, обрывочные фразы — это команды или отзыв на них. То ли диспетчер ведёт пилота, то ли командир с земли наставляет лётчика. А ещё гул трансформаторов и шум вентиляторов, охлаждающих пышущую теплом аппаратуру, — это напоминает рокот авиамоторов.

Все звуки создают мощное силовое поле, которое фокусируется и устремляется в небо. И днём и ночью, зимой и летом — этому невидимому лучу препятствий нет. Он ошупывает пространство, безошибочно определяет, кто есть кто. Чужого в случае чего «возьмёт на мушку», а своего поведёт, аки поводырь.

Отсюда «просматривается» большой сектор воздушного пространства до самой границы и, само собой, дальше. И, по большому счёту, если отойти от военных стереотипов, это передний край. Такой вот он нынче, передний край. И такая вот здесь, в этом неказистом, словно закамфлированном под барак здании ведётся вахта.

Возвращаемся в часть к обеду. В дверях казармы сталкиваюсь с незнакомцем. Впрочем, для меня таковые пока почти все. Он — оттуда, я — туда. Кто-то должен уступить. Но кто?

По форме, чистой, невыгоревшей, он, похоже, новичок — последнего, осенне-зимнего призыва. У меня за мои армейские полгода «хэ-бэшка» изрядно полиняла, а погоны голубые повыгорели. Но по лицу его, белому да какому-то холённому, он всё же старше большинства обитателей солдатской казармы. Секунду-другую выжидаем, глядя друг на друга. В глазах его читается превосходство. Меня всегда настораживает такой взгляд: ты делом докажи. Однако дискутировать на этот счёт тут нет смысла — я молча отступаю, давая дорогу. Не потому, разумеется, что он убедил меня своим взглядом. Правила хорошего тона так рекомендуют: выходящему надо уступать. Армия ведь не отменяет

хороших манер. Это я так про себя усмехаюсь, поощряя собственное великодушие.

7

Вечерняя поверка. Снова щёлкают стальные зубы:

— Вперёд, инженер!

Ему служить ещё год, но по отношению ко мне он числит себя «дедом», и ему надо, чтобы я стоял в первой шеренге. Что делать? Огрызаться не огрызаюсь, но отвечаю твёрдо:

— Я не инженер.

— А кто ты? — тянет через губу.

Лет через шесть ситуация повторится. Я вновь услышу тот же вопрос и точно так же он будет произнесён в спину и даже с той же интонацией.

Гагры. Мы впятером — я, руководитель туристической группы, пара молодых людей и двое мужиков постарше меня — возвращаемся вечером из кино. Настроение благодушное, умиротворённое, какое бывает после комедии; а тут вдобавок тепло, тихо, пряный воздух щекочет ноздри... Вдруг крики. Нам наперерез кидаются две девчонки, догоняют, цепляются за нас. А за ними — два местных абрека, свирепые, разъярённо раздувающие ноздри и раздосадованные, что неожиданно ускользнула добыча. Один рыжеватый, другой типичный кацо с хищным, как клюв стервятника, носом. Хватают беглянок за руки, тянут обратно — в темень, в подворотню, в кусты. Да притом нагло, бесцеремонно, отсекая всякую возможность защиты, дескать, чуть рыпнешься — секир-башка!

Вроде численный перевес на нашей стороне. Но они дома, в своей среде, к тому же сзади, а мы на отдыхе — расслабленные и совсем не готовые к такому обороту. Молодой жмётся к жене — надо думать, опасается за её сохранность. Мужики, мои соседи по ночлегу и компаньоны по пивным посиделкам, тоже голоса не подают. Что делать? Я — руководитель группы, за мной — три десятка человек, которых я сюда привёз и обязан в целости и сохранности возвратит домой. Но ведь и девчонки не чужие — наши, русские девчонки, хотя, видно, и дуры, коли так влипли.

Шаг не сбавляем. Тут главное — не метушить-

ся, не показывать слабину. Но как её не показывать, коли тебе угрожают?!

На ум приходит Фазиль Искандер. Абхазия — его родина. А вот эти наглецы — его соплеменники.

Ты, Фазиль, воспевашь свой народ, пишешь о подвигах, о доблести, о славе, а ещё о гостеприимстве и радушии абхазов. А вот твои кунаки-соплеменники не просто угрожают мирным гостям, а сулят им загнать нож меж лопаток. Как тебе это? И тем не менее уповаю именно на тебя, обращаясь к памяти твоих персонажей. Начинаю говорить о доблести и благородстве детей гор, поминаю те самые имена, а прежде всего твоё, Фазиль. Говорю об обычаях абхазов, традициях гостеприимства и выражаю недоумение, что нынешняя абхазская молодёжь не чтит таких, тем самым нарушая заветы предков.

Угрозы в спину не умолкают. Порой кажется, что вот-вот... По хребтине — не то мурашки, не то пот... Однако шаг не замедляю и речь — тоже. А умом отслеживаю, что один из налётчиков начинает стихать. Это, видимо, рыжий — он то ли полукровка, то ли менее нагл. Но другой, горбоносый, не отступает. Меж лопатками по-прежнему холодок: а ну как и впрямь... Нравы-то здесь дикие, даром что слегка припудрены цивилизацией.

Девчонок трясёт, они жмутся и вселят гроздыями. Тут не рванёшь, даже если бы захотел. Шагаю не спеша. Главное, не сбиваться — ни в шаге, ни в речи.

— Ты кто? — неожиданно цедит тот, кто наглее.

Вот тогда-то, сделав в тишине пару шагов и глотнув воздуха, я как можно спокойней произношу одно слово, хотя ретивое и прыгает. Говорю медленно, артикулируя каждый слог, вытягивая не только гласные, но и каждую согласную. Переспрашивать нелепо, настолько внятно и доходчиво сказано. А главное — что.

Спиной чувствую переглядки. Налётчики не просто озадачены — они растеряны. И вот результат: ещё немного поерепенившись, покуражившись (это называется для понта), они, не доходя до ярко освещённого перекрёстка, ныряют в кусты. Всё! Сердце моё трепещет и норовит выпрыгнуть, точно воздушный шарик без привязи. Однако вида я не подаю или по крайней мере стараюсь не подавать.

Девыцы, глупые и доверчивые, плачут, не зная, как благодарить, целуют в щёки. Мужики тяжело ворочают шеями, словно им тесны ворота лёгких сорочек, и натужно вздыхают. У молодёжна прорезается голос, он начинает что-то быстро-быстро говорить жене.

Последний квартал преодолеваем молча, словно каждый наедине переживает минувшее. Доводим девчонок до их съёмной квартиры и желаем спокойной ночи.

Пойдёт ли им этот урок впрок, не знаю. Но я свой урок затвердил давно: на рожон не лезь, куда можешь — терпи, но не теряй достоинства, даже если угрожает опасность; есть черта, за которую переходить нельзя; дрогнешь — поставят на колени, будут помыкать и издеваться; и даже если отступятся — ты сам потом изведёшь себя, снедаемый унижением, стыдом и обидой.

В том случае было опаснее: кто их знает, этих абреков — пырнули бы, и ищи ветра в поле, то бишь в горах. Но ведь тогда у меня уже опыт был, в том числе и армейский.

— Я не инженер, — отозвался я на оскал стальных зубов.

— А кто? — донеслось из-за спины.

— Журналист, — произнёс я медленно и твёрдо.

— Журналист, — раздалось за спиной. В интонации чувствовались злость, раздражение, а ещё недоумение и... опаска.

Какой вывод я сделал? Здесь, в узле связи, если не во всей армии, среди, по крайней мере, срочников существует убеждение, что любой, у кого высшее образование, — инженер, независимо от его профессии. Для «дедков» — это чужак, по их представлениям, незаслуженно имеющий льготу служить вполсилы меньше, чем они, а следовательно, эту льготу обязательный отработать; ежели он упрямится, то его надлежит принудить и подвергнуть воспитательному воздействию.

Наглядный урок такого воздействия был продемонстрирован мне на следующее утро. Я зашёл в умывальник и... остолбенел. Два амбала из соседнего взвода, держа за ноги и за руки бледного парня, растянули его под тремя кранами, из которых хлестала вода.

— С лёгким паром, инженер! — гоготали они в две глотки. — С лёгким паром!

Я узнал его: это был тот самый парень, с кото-

рым накануне мы столкнулись в дверях. На дворе зима, смены белья и запасных хэбэшных брюк у него, понятно, нет, а через десять минут построение и выход на улицу. Я поёжился, мысль зацепила меня, но я тут же подавил её: а что я могу? укоротить их, одёрнуть? А потом оказаться на его месте? А ещё как оправдание вспомнил тот его надменный взгляд.

— С лёгким паром, инженер! — гоготали амбалы, и я чувствовал, что они косятся в мою спину.

...Откуда такое отношение к «инженеру»? Тем более у пацанов, которые и на производстве-то, похоже, не работали? Может, это тянется ещё с «некрасовской» железной дороги («а по краям-то всё косточки русские...»)? Или с Гражданской войны, когда инженеры числились за белой кастой, даже если были выходцами из разночинцев? Или уже из 30-х годов, когда судили «инженеров-вредителей», шли процессы над «промпартией», а другие инженеры, ещё не арестованные, заправляли делами на гулаговских стройках?

Нет, до конца это, наверное, не понять. Как не определить и характер неприязни, то есть того, что за нею стоит: опаска учёного человека или зависть к его положению, к его доходам?

До революции разница в содержании инженера и рабочего была несоизмерима. И даже при советской власти она поначалу была велика: в 30-е годы инженер, даже не иностранец, а свой, стажировавшийся, к примеру, в Америке, получал больше рабочего раз в пять. Однако со времён Никиты Хрущёва всё уравнилось. Зарплата ИТР была подчас меньше, чем получка токаря, правда, квалифицированного. Не оттого ли, кстати, зачала русская инженерная мысль? Ведь, к примеру, автомобили так за полвека и не научились делать. Только вооружение да космические корабли. Да и то потому, что в этой секретной сфере была собрана инженерная и научная элита, которая в своих закрытых НИИ и наукоградах получала более или менее достойную оплату. А в средней массе инженер по уровню жизни мало чем отличался от работника, даром что учился шесть лет. Только что меньше пил и оттого мог скопить на какую-никакую машинешку — «Запорожец» или «Москвич»... Может, и это сказалось на отношении к нему?

* * *

Инженера нашего зовут Эдик, фамилия Сурский. Он окончил Свердловский политех. А служить попал по весне, как и я, причём в тот же Саратовский учебный полк связи. А то, что он бледный и форма у него не выгорела, так это оттого, что всё лето вместе с другими новобранцами, в том числе моими земляками, просидел в карантине, то есть по сути взаперти.

* * *

Ночью сплю плохо. Сердце бухает и обмирает. Всё моё существо обращается в слух. Свистящий шёпот, сдавленный говор, затаённые шаги... Вот сейчас, вот сейчас... Самое мерзкое — это ожидание, когда скинут на пол, замотав в одеяло, и начнут валтузить, — тут только уворачивайся. Но ожидание...

8

В том же спортзале — койки караульной роты, они через проход. Возле тумбочки напротив примечаю паренька, уткнувшегося в книгу. По узору переплёта смекаю, что это издание XIX или начала XX века. Иду знакомиться. Сначала с книгой, а потом с её хозяином. Я не ошибаюсь — издание дореволюционное: проза Алексея Ремизова. Надо же! В солдатской казарме — произведение писателя-эмигранта, в сущности отщепенца, по квалификации рапповских идеологов. Оказывается, Витя Блинов, паренёк, внешне похожий на Альберта Брехта, — комсорг этой самой краснопогонной роты. Но главное — он книголюб, человек, помешанный на классике, книгах «серебряного века» и французских романтиках. В его секретарском сейфе сверху документы и печатки, а внизу Леконт де Лилль, Верлен, Рембо... «Откуда?» — изумляюсь я. «Из лавки, вестимо!» — отвечает Витя. По комсомольским делам ему регулярно дают увольнительные. Сбежав в райком, он тут же спешит в букинистический магазин. Эта страсть у него от отца. Папа-филолог высылаёт сыну небольшие деньги, иногда Витя заимствует недостающее из взносов и,

выкупив раритет, пересылает книги домой — в ленинградский город Сланцы.

Из библиотечного сейфа извлекаю томик Жюль Ренара. Это дневники.

«Не следует говорить всей правды, но следует говорить только правду» — запись 1899 года. Как подтверждение этого, строки об умирающей дочери: «Мы — эгоисты, а всё-таки я согласен поменяться с нею: я уйду, пусть она останется. Это, конечно, когда я очень взволнован». Концовка фразы предельно искренняя. Эти строки я выписал. А вот следующая мысль — дата 1910 год — меня озадачила: «Птица в клетке не знает, что она не может летать».

Не эти ли дневники, не эти ли строки многолетней давности в конце концов меня подвинули к действию, и я совершил то, с чего начал эту повесть? Нет. Пожалуй, нет. Заставили задуматься, что-то осмыслить. Но кинуло к решительному действию другое. Щенок! Вот из-за кого я разъярился и кинулся со штыком на Немца.

9

Этот щенок появился на территории воинской части как нарушитель. Ночь. Метёт. Я в карауле на ПРДЦ. Хожу в тулупе с карабином на плече по периметру: вдоль забора, вдоль автобоксов, вдоль забора с сопредельными мастерскими, мимо центральных ворот — и снова по тому же маршруту. И вдруг — какая-то тень, какое-то шевеление, слабый звук. Придерживая карабин, устремляюсь туда. А он мне — под ноги, обмётанный снегом, с дрожащим хвостиком, даже глазёнки заледенели. То ли от мамки отбил, то ли от живодёрской облавы утёк. Подхватил я его — он скулит, лижётся — сунул за отворот тулупа, благо просторно, он ещё поскулил, поворочался да угрелся там и затих. Так с найдёнышем за пазухой я и прокараулил всю смену.

По графику — подмена в четыре часа. Тулуп отдал сменщику. Сам в караулке завалился на раскладушку, а щенка приткнул к себе, не бросать же малую животину. Так — теперь уже в четыре ноздри — мы с ним и просопели до конца дежурства.

Перед сдачей караула надо было набрать в

питьевой бачок воды. Своим водопроводом наша доблестная, на всё готовая воинская часть почему-то не озаботилась, хотя автомобили не только без бензина, но и «без воды — ни туды и ни сюды...». Воду смекали на «гражданке» — в соседних мехмастерских, куда был проделан в заборе ход. Туда попутно я решил сплавить и щенка, а то чего доброго пропадёт, выкатившись на улицу. Покормил его перед дорогой — хлебца намалял, дал воды — он жадно похватал и завилал хвостиком. Вот после этого я и понёс его на «гражданку»: — «Послужил, брат, получай дембель!» — и, набрав в бак воды, ушёл.

Думал, уже всё — не увижу. Нет, через день серенький катышок с вислыми ушками опять появился, проникнув среди ночи на территорию режимного объекта. И опять я захихал его за отворот тулупа.

Ночь выдалась ясная, морозная, но без ветра, и оттого было не зябко. Щенок, высунув носик, сопел, щекоча подбородок и губы теплым дыханьем, а иногда поскуливал, видать, вспоминая маманьку.

Я шагал по привычному натоптанному маршруту. Скрипя снежком, прислушивался, заприкидывая голову, глядел на звёзды. Чтобы окинуть, насколько возможно, всё небо, иногда заваливался в сугроб, притапливая приклад карабина. А то вновь шагал, мысленно читая стихи. Что читал? А что вспоминалось. То, словно играючись со спящим щенком, Пушкина: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Хотя не было ни мглы, ни метели. То Блока: «Мы встречались с тобой на закате...», вспоминая свою вторую, пусть безответную, но какую-то жаркую и порывистую любовь. То Есенина: «Ветры, ветры, о снежные ветры, заметите мою прошлую жизнь...» И вот не чудо ли? — куда-то словно исчезла солдатчина, и я почти осязаемо почувствовал себя, нет, не дома, а на промежуточной точке, которую оставил по весне, — на буровой, ведь там у меня был точно такой же тулуп, вокруг лежал точно такой же снег, а сверху горели почти те же самые звёзды.

Надо же было так выпасть из времени! Вроде не спишь, а словно ничего вокруг не видишь и не слышишь, на миг забыв и про армию, и про устав караульной службы! Кто же сотворил такое чудо? Да вот это лохматое существо — ще-

нок, который угрелся возле сердца и стучит своим сердчишком то в такт, то опережая твоё.

С тех пор ни одного моего караула не проходило без щенка. Причём не только ночью: едва заступлю в наряд — он тут как тут. Прямо-таки сторожевой пёс, то бишь щен, хоть на довольствие ставь, даром что дрыхнет всю смену.

О щенке, естественно, узнали на ПРДЦ. Да и как не узнать, если он уже начал скрестись в двери. Тут для него наступил полный курорт. Кто корочку даст, кто галетку. Даже прапорщик Ермошин, начальник центра, стал привечать: то куриную косточку от своего обеда бросит, то кусочек домашней котлеты. Немец тоже однажды расщедрился. Было это на моих глазах. Щенок, — к той поре его называли Шариком, таким круглым стал, — глызку тушёнки ухватил, в два щелчка смякал, но на прицокивание железных зубов не подошёл, а потрусил ко мне. Немец на эту неблагодарность сплюнул и, пихнув сапогом дверь, вышел.

Вскоре меж ними, Шариком и Немцем, произошёл уже конфликт. Это рассказал мне Ваня Уликин. Накануне он побежал по нужде в отхожее место, приткнутое на задворках центра. Возвращается обратно, и вдруг — визг. Шарик? Так и есть. Из открытого бокса выходит Немец, рот ощерен, плюётся, а щенка держит за шкуру. Потом, выматерившись, размахивается, кидает Шарика далеко в сугроб и, не оглядываясь, скрывается в боксе. Ваня, увидев такое дело, кинулся на выручку. Щенок утонул в сугробе по самые уши. Ваня откопал его, подхватил и, ошарашенного и ушибленного, потащил в тепло. Щенок был мокрый, шерсть на холке уже схватилась морозцем и торчала колом, а ещё от него слегка пахло. Вот по этому запаху Ваня и смекнул, что произошло.

К дверям ПРДЦ Шарик на сей раз подкатился уже после пересменки, двери открыть было некому — караульный в эту пору орудовал, видать, в кочегарке. И тогда щенок потрусил в бокс, дверь которого была недовкрыта. Куда он приткнулся, скользнув мимо машины, в которой копался Немец? Понятное дело, ближе к батарее, — туда, где устроено было лежбище Немца. В тепле Шарик, само собой, расслабился и, как это бывает у малых детей, нафурил. Вот это-то и послужило причиной для последовавшей экзекуции.

После этого Шарик уже на дух не переносил Немца. Тот называл его Штуцером, а щенок Немца на своём и русском языке Ррр-ыком. Разумеется, с учётом обстановки. Если Шарик встречался с Немцем один на один, то, поджав хвост, живо улепётывал, прячась либо под какую-нибудь машину, либо под крыльцо ПРДЦ. Но ежели находился в паре — со мной или с кем-то из сменщиков, то есть когда «нёс караул», — то при появлении даже машины Немца шерсть на его холке вздымалась, он набычивался и, не умея ещё лаять, начинал гневно урчать.

10

Голос у Шарика прорезался внезапно. Случилось это так.

В конце года ожидалась традиционная фронтальная проверка. Комиссии предстояло убедиться в боевой готовности всего хозяйства передающего центра — и радиостанций, и автопарка с законсервированными радиостанциями. Упреждая возможные огрехи (в прошлый раз, по свидетельству «дедков», штабных вывел из себя скрип промёрзших дверей и ворот), прапорщик Ермошин приказал мне смазать все петли. Для проведения этой операции он ухитрился выпросить у своего кореша из штабного АХО пломбирочные пассатижи, для чего «подмазал» его самого поллитровкой казённого — для протирки радиоламп — спирта.

Я открывал боксы поочерёдно слева направо. Открывал, смазывал солидолом петли, проверял на «скрипичный ключ», не забывал также двери малые, проделанные в правых створах, и снова навешивал замки. Опечатывать пломбами собирался сам Ермошин.

Ворота последнего законсервированного бокса отворились и впрямь с диким скрежетом — видать, просели. На эти звуки из рабочего бокса вывалился Немец. Выматюгался, сплюнул, но назад не ушёл, оставшись наблюдать за моими действиями. Учитывая особую скрипучесть этих последних ворот, я решил смазать их с обеих сторон, и изнутри, и снаружи, благо солидола в шприце оставалось достаточно. И тут случилось непредвиденное. Только я взобрался на стремянку, чтобы промаслить верхние петли, как

окованный железом створ повлекло к стене. Зазор, в котором я очутился, сузился. Стремянка от сжатия заскрипела, ступени надломились, и я рухнул вниз, больно ударившись обо что-то коленом и локтем. Впрочем, в тот момент было не до того. Надо выбираться! Кое-как развернувшись, я сунулся в проём. Однако путь мне преградила малая входная дверь, внезапно открывшаяся и приткнутая к стене. Ловушка! Я очутился в ловушке, которая контуром — почему-то сразу подумалось — напоминала Бермудский треугольник. Ну и ну! Снаружи донеслось злорадное всохатывание. Да я и без того догадался, кто устроил эту пакость. Молча, не выдавая своей растерянности, я осмотрелся. Внизу зазора почти не оставалось. Вверх мне было не подняться, потому что стремянка от сжатия развалилась, дотянуться до кромки двери я не мог, а подпрыгнуть в этой тесноте — тем более. Что оставалось делать? Напружинился, попытался отвалить малую дверь, но не удалось — слишком тесно оказалось для упора, к тому же двери снаружи, видимо, подпирались.

— Отворяй! — как можно спокойнее и твёрже сказал я. В ответ донеслось то же самое хрюкающее хмыканье. И вот тут, заслышав, очевидно, мой голос, почуввав в нём что-то тревожное, примчался Шарик. Примчался и стал меня выручать. Скулил, урчал — это я слышал. А что он там делал — кидался под ноги тому оглоеду, хватал его за сапоги — не знаю: доносилась только какая-то возня. И вот среди этой возни вдруг раздался лай, ломкий ещё, щенячий, но самый настоящий лай, от которого, похоже, слегка опешил и сам Шарик, и тот гад, что устроил мне ловушку. На миг он отвлёкся, возможно, удивлённый лаем, двери отпустил. Мне этого хватило. Почувствовав на запоре слабинку, я резко навалился, дверь захлопнулась, войдя в проём большого створа, а главное — открылся путь к свободе. И тут...

Вломившись из капкана, я услышал визг. Тот момент, когда щенок, поддетый кованым сапогом, взлетел над сугробом, совпал с моим освобождением. Мешкать было нельзя. Благодарность и жалость к своему спасителю пересилила желание кинуться на его и моего обидчика. Метнувшись к сугробу, я вытащил распластанного Шарика из снежной кучи и прижал к груди. Немец той минутой улизнул, смекнув, что ему

сейчас несдобровать — за ним лязгнула шеколда. Я сплюнул, кое-как затворил створы последнего бокса и поспешил со щенком в тепло.

По счастью, серьёзных травм у Шарика не оказалось. Несколько дней поволочил заднюю лапку и всё — зажило как на собаке. Но меня с того дня охватила тревога. Не за себя, нет. Я-то за себя как-нибудь постою, не впервой. Как уберечь Шарика? Вот что меня тревожило. Я чувствовал, что добром это не кончится.

Когда я заступал в караул — тут опаски не было: Шарик всё время находился под моим присмотром. Тревога усиливалась, когда я покидал ПРДЦ. Не рассказывая никому, что между Шариком, мной и Немцем произошло, я наказывал сменщикам не спускать со щенка глаз. А чтобы мои наказания были убедительнее, угощал ребят сигаретами или ирисками.

В тот день, как и всегда, я принял смену в девять утра. Шарик, словно чуя, когда я заступлю в караул, обычно встречал меня у центральных ворот либо на пороге ПРДЦ и редко-редко высказывал из проёма в заборе — у него, по старой памяти, была конурка в мехмастерских. А тут — молчок. Спросил у сменщиков: не видали? Нет, пожали плечами, целый день не появлялся. Я забеспокоился. Двигаясь привычным маршрутом, заглядывал во все возможные для залёжки уголки, прислушивался к звукам, доносившимся с «гражданки», даже замирал, чтобы не нарушать тишины скрипом валенок, снова шёл и снова замирал, пытаюсь унять тревожно стучавшее сердце. Щенка не было.

Шарик появился за полночь, когда после перерыва я вновь заступил в караул.

— Ты где пропадаешь? — встретил я его. Заслышав в моём голосе укоризну, Шарик виновато повилял хвостом, подкатился ко мне и как-то особенно доверчиво поднял мордочку. Это было недалеко от фонаря, в свете которого вилась позёмка. Я скинул рукавицу, придерживая ремень карабина, наклонился, подхватил Шарика под мягкий тёплый живот и собрался уже запихать его в тулупную конуру, как вдруг обмер. Глаз! Правый глаз щенка был выбит и болтался на живой нитке. И вот тут произошло непоправимое. Господи, прости меня, грешного! Не ведая, что творю, я брезгливо сморщился и скинул бедолагу на снег. Что он почувствовал, не знаю. Отвер-

женность ли свою, неожиданное ли своё уродство! Но так это искаса, снизу вверх, посмотрел на меня своим теперь единственным глазом, без укора, а даже виновато, поджал хвост и куда-то поплёлся. Почему я не окликнул его? Почему не нашёл сил, чтобы одолеть брезгливость, пожалеть его, приласкать и как-то утешить? Много ли надо собаке! До сих пор не могу простить себе это предательство. Он кинулся меня спасать, одолев страх, не убоявшись опасности, признав во мне не просто хозяина — друга, а я его отвергнул. До сих пор не могу себе простить...

Щенок исчез и больше не появлялся. И вот тогда мой гнев, мой стыд, моя горечь выплеснулись наружу. Это когда я штыком прихватил Немца к тем самым дверям, которыми он меня придавил.

Часть вторая

1

После той «штыковой атаки» прошло дня три. Немец меня сторонится. Прежде, бывало, всё норовит сзади встать, чтобы в «подходящий» момент пихнуть под коленки, а тут переместился на другой фланг — и молчок. Угомонился? Отступил? Хвост поджал? Едва ли!.. Зубы волчара не скалит, но клыки-то железные куда не делись. Втихомолку, тихой сапой всё равно будет строить подлянки.

Так и есть. Вот ни с того ни с сего рыкнул прежде тихий и флегматичный прапорщик Ермошин — явно Немец что-то напел. Вот Гагик, наш каптёр («ты — минэ, я — тибэ»), чего-то супится, брови кавказские сводит, точно я ему шибко нехороший жест показал. Но самое хреновое — старшина... Шевандо и прежде меня не жаловал, гоняя туда-сюда. Я же «свободнее» других, даром что «через день — на ремень, через два — на кухню», по эфиру-то не дежурю. Вот он и использовал меня как дармовую рабочую силу. А теперь просто озверел. Ни минуты свободной не стало, даже личное время — положенный по уставу час — норовит отобрать. То — в руки метлу и лом — чистить территорию, то — в прачечную за бельем, то — на хозсклад, то — в подшефный ледовый дворец на установку или, наобо-

рот, уборку стульев, то — на лакокрасочную фабрику... И так с подъёма до отбоя. Выматывался я до предела — даже в строю стал засыпать.

И вот тут на моём сумеречном горизонте однажды появился ангел-хранитель. Крылышки маленькие-маленькие, а сам большой-большой. Это я так шутил потом. Крылышки у ангела-хранителя были и впрямь крохотные, зато аж четыре — по два в каждой петлице. А звали ангела-хранителя, как и меня.

Миша Франчук был родом с Западной Украины, из Ивано-Франковска. Оттого Немец звал его Гуцулом, все же остальные главным образом по имени или доктором.

Говорят, на характере человека отражается место его рождения. Наверное. А на моём тёзке загадочным образом отразился и рельеф, я имею в виду Закарпатье. Особенно это бросалось в глаза, когда по отбою Миша располагался на втором ярусе стандартной солдатской койки. Вытянуться он не мог, поскольку ноги вылезали меж прутьев спинки и загромождали проход, потому приходилось их подгибать. Руки мешали соседям, и Миша вынужден был их складывать, как, например, складывают складной метр, и часть этого складня торчала вверх. А дополняли этот рельеф, напоминающий горную Карпатскую гряду, подбородок и нос. Это были два гордых утёса, при этом нос явно доминировал на сей горной местности.

Как многие высокие люди, особенно молодые, Миша стеснялся своего роста и в строю даже по стойке «смирно» пытался стоять на полусогнутых, отчего не раз получал от лейтенанта Фартусова лёгкий пинок по коленной чашечке. Немец норовил подсесть его под колени, чтобы выставить в дурацком виде, а лейтенант стучал в коленные чашечки, словно тот и другой испытывали на прочность Мишины коленные суставы или пытались сотворить из парня кузнечика.

До призыва в армию Франчук окончил медицинское училище. В вооружённых силах редко учитывают профессиональные навыки, будь ты даже дока в своей профессии. Стригут всех под одну гребёнку: откуда заявка — туда и пошлют. Но тут случилось исключение: Мишу назначили ротным фельдшером, а прикомандировали к нашему взводу.

Что в медике самое главное? По-моему, доб-

росердечие. Никакие специальные знания, никакая клятва Гиппократа не выпестуют настоящего врача, если нет этой самой сердечности. У Миши сердце было пропорционально его росту. Плюс врождённое чувство справедливости. Вот это всё, включая ту самую клятву, побудило его не просто принять участие в судьбе ближнего, а попытаться как-то облегчить эту самую судьбу.

2

Обращаться к старшине, взывая к его совести, Миша посчитал бессмысленным: легче быка отговорить не бодаться, чем самодура — от дурных привычек. Попытка потолковать со взводным — дескать, это же опасно так загонять солдата, он измотан и засыпает на ходу — ни к чему не привела. Лейтенант Фартусов от разговора уклонился: чего ради из-за какого-то рядового ему было ссориться с прапорщиком, тем паче старшим и тем паче весильным не только в роте старшиной. К тому же лейтенант со дня на день ждал вызова на учёбу и у него было «чемоданное настроение». К замполиту Кашинцеву обращаться тоже не имело смысла, но уже по другой, нежели к старшине, причине. Этот сухопарый, как указка, капитан обладал нудным голосом, и от его унылых лекций клонило в сон. Прозванный не только по созвучию фамилии Каштанкой, Кашинцев в роте ничего не решал, авторитета никакого не имел, а был просто человеком при должности... Оставалась последняя инстанция для обращения — командир части.

Командовал нашим неполнокомплектным подразделением майор Женцов. Круглое лицо, насупленные брови, тонкий крючковатый нос, оттопыренная нижняя губа — внешне он напоминал ни много ни мало самого Наполеона. Однако прихотливая игра природы вкупе с судьбой сыграли с ним злую шутку. Ротному было далеко за сорок. Его годки ходили уже в полковниках и занимали соответствующие званию посты, а он всё ещё состоял на капитанской должности.

В эту самую пору в штабе ОУС произошли должностные подвиги и открылось вакантное место. Наш майор замер в охотничьей стойке. В мыслях он наверняка уже витал на верхних этажах могучего здания окружного узла связи. И те-

перь главное для него заключалось в одном: чтобы во вверенных ему боевых порядках не случилось какого-нибудь ЧП, чтобы всё было неизменно, по крайней мере до его назначения. Руководствуясь этим постулатом, майор дрючил роту от подъёма до отбоя. Мало того, он стал даже ночевать в подразделении, чего прежде не наблюдалось. Короче, соваться к нему в эту пору было просто бессмысленно, а может, даже и небезопасно. Ведь любое обращение могло выйти боком. Потому фельдшер Миша решил переждать. Девиз медицины — не навреди. Придёт новый командир — вот тогда... А пока он уговаривал меня съездить в военный госпиталь.

Миша был неутомим. Он упорно искал у меня какую-нибудь болячку и уговаривал показаться врачу, дабы облегчить мою участь.

— Смотри, какой жёлтый, — подставлял он зеркало. — Может, гепатит?

— Это от охры, — объяснял я, — видать, в поры въелась. Вчера на фабрике и третьего дня...

— Ну-ка, открой рот.

— Ворона залетит, — вяло отшучивался я.

— Открой.

Делать нечего — открывал.

— Краснота... Видишь? — он опять подставлял зеркало.

— Это от Витиных погон, — кивал я на комсорга Блинова, который как раз возвращался из караула.

Миша укоризненно качал головой, не желая принимать моих шуток, однако же не обижался.

Меж тем в наших боевых порядках произошли существенные перемены. Лейтенант Фартусов наконец отбыл на учёбу. Последнее построение вышло почти душевным. «Не поминайте лихом!» — на прощание сказал он. Ни лихом, ни ещё как-то мы его не поминали, то есть практически тотчас и забыли. Через день майор Женцов представил взводу нового командира. Фамилия его была Полетаев, а званием аж капитан.

— Ну, Миша, — после развода заключил я, — тебя на дембель будет провожать не иначе взводный полковник.

— А то и генерал, — подхватил фельдшер.

Мы с ним похмыкали насчёт превратностей армейской фортуны, но даже и помыслить себе не могли, как вскоре аукнется одному из нас произнесённое в шутку звание.

Капитан Полетаев – стройный, подтянутый, лет тридцати офицер с каштановым ежиком коротких волос и живым блеском тёмных глаз – пришёлся сразу. Он был настоящий – в смысле естественный.

Офицеры и прапорщики ротного круга, казалось, играли какую-то роль, вернее даже – одну затверженную мизансцену.

Фартусов – этакого умудрённого службой подпоручика: козырнуть, прихлопнуть пятками – он это делал либо чрезмерно лихо, когда сие предназначалось начальству, либо, наоборот, чрезмерно вяло и пресыщенно, когда перед ним стоял взвод.

Прапорщик Шевандо, пожалуй, не играл. Он выполнял декоративно-прикладную функцию, как «многоуважаемый шкаф», только с приставкой «не», потому что хлопал створками шинели, за которыми глухо отзывалась пустота, и гремел ящиком железного рта.

Замполит Кашинцев исполнял роль промокاشки или тени «отца Гамлета», то бишь Женцова.

А майор играл роль театрального премьера, всем своим видом подчёркивая, что ему бы столичные подмостки, а он тут с нами вожжается.

Все чего-то или кого-то играли – так мне виделось. А Полетаев и в жестах, и в осанке оставался самим собой. Вне строя он держался непринуждённо, но без панибратства. А перед строем – в меру строго, но доброжелательно. Фартусов – так казалось подчас – лез из мундира, словно змея из кожи, или, наоборот, замыкался в мундир, словно жук в хитиновый панцирь. А капитана мундир не сковывал, не «говорил» за него и не мешал ему. Вот почему после первого же построения, после двух-трёх фраз, произнесённых новым взводным, мы с Мишей заключили, что содержимое у капитана явно доминирует над формой.

В первое же утро капитан отправился с нами на ПРДЦ. Я шёл в караул. Серёжа Лыков, мой товарищ по учебке, заступал на суточное дежурство. Один боец строя не изобразит, но двое уже встают в колонну. Наш взводный не стал напоминать об этом. Мы шли от него по бокам, но шаг при этом держали дружный.

По пути завязался разговор. Оказалось, что капитан после военного училища служил в Амдерме, на побережье Ледовитого океана, и был радиоинженером на стратегическом бомбардировщике. Амдерма – нашенские места, а Югорский полуостров, на котором она находится, входил и входит в поле деятельности нашей геологоразведочной партии. Так что мы с капитаном Полетаевым оказались почти земляками. И он при словесном «вручении верительных грамот» использовал даже солдатский жаргон, назвав меня «зёмой».

На ПРДЦ следом за нами пришёл старшина. Его, по договорённости с Полетаевым, послал майор Женцов. Шевандо был недоволен – его отвлекают от более важных, по его же убеждению, дел – и всем своим видом подчёркивал это. Однако капитану не было дела до его демонстрации. Он оглядел радиокomплекс, посмотрел условия работы радиооператоров. С прапорщиком Ермошиным они «прошлись» по составу передающих блоков, при этом капитан что-то записал в блокнот, пообещав навести справку о каком-то новом резисторе. А старшине он тут же дал указание достать для радиооператоров кресла с винтообразными сиденьями. Шевандо оторопел, он глядел на стулья и не мог взять в толк: разве ж это не сиденья? Но капитан не дал ему раскрыть рта – какой смысл? А пояснения свои обратил не на старшину, а на Ермошина, мол, из-за этих стульев терется время.

– Оно, конечно, секунды, – кивнул капитан, упреждая возможные вопросы, – но там, – он поднял палец вверх, – всё решают даже не секунды – их доли.

В коридоре, том самом «фюзеляже», где мы, караульные, кантовались между смен, капитан увидел продавленную раскладушку.

– Какой же тут отдых? – вопрос был обращён прямо к старшине, и без паузы прозвучал приказ: – Заменить на штатную койку.

Старшина, не отошедший ещё от первого указания, совсем очумел: такого обилия приказов он давно не получал.

Дальше на пути капитанской инспекции были кочегарка и аккумуляторная. В кочегарку взводный лишь заглянул. А вот в аккумуляторной задержался. И повод для этого, честно признаться, подсказал я.

Дело в том, что аккумуляторщиком у нас служил Ильдус Гарифуллин. Мужика призвали в армию за неделю до 27-летия, да вдобавок жена его была на сносях. Во как бывает. Ничего не остановило военкоматовских службистов: ни предельный возраст призывника, ни беременность жены. В исполнительском раже, подчищая «долги», загребли и Ильдуса. На присягу его жена приехала уже с наследником. Господа офицеры сделали вид, что не заметили сего. Через девять месяцев супруги Гарифулины произвели на свет ещё одного будущего бойца. Казалось бы, всё — теперь-то уж точно надо отпускать мужика. Тем более что жена Ильдуса, как и он сам, — сироты, детдомовцы, помочь некому. Однако майор Женцов, по своему обыкновению, заупрямился, дескать, в роте и так некомплект. Вот тогда бедный Ильдус и решился на отчаянный шаг! Что он сделал? А загнал по дешёвке несколько старых аккумуляторов и вырученные небольшие деньги послал семейству. Дело вскоре открылось — проболтались те самые авторемонтники, которым он толкнул полуутиль. Ильдуса посадили на гауптвахту, дав ему аж десять суток. По возвращении с «губы» он не смел и пикнуть, сидя как проклятый в своей аккумуляторной, что вполне устраивало начальство. До дембеля, если ждать назначенного срока, ему оставался ещё целый год.

Капитан Полетаев ничем не выдал, что получил информацию. Заведя с Ильдусом разговор о его заведовании, взводный незаметно выпросил мужика и о его судьбе. Картина, кратко обрисованная мною, подтвердилась. Когда капитан вернулся в операторскую, на лице его читались озадаченность, а ещё, пожалуй, затаённая вина.

За два-три дня капитан Полетаев ознакомился со всем взводным хозяйством, успел поговорить, пусть подчас и вскользь, со всеми своими подчинёнными, особо выделив старослужащих, что те вполне оценили.

Со мной разговор у капитана уже был — за дорогу до ПРДЦ мы с ним кое о чём переговорили. Однако он не ограничился этим. Как-то перед разводом стал живо расспрашивать о газетной работе. Причём не формально, в общем и целом, а конкретно: как планируется номер? каковы обязанности у литсотрудника? и, коль ответственный секретарь — это начальник

штаба, пользуется ли он циркулем, готовальной и другими чертёжными инструментами?..

4

Миша, услышав о наших с капитаном разговорах, загорелся: теперь, дескать, надо о главном — чего мешкать! Но я на это покачал головой:

— Едва пришёл, а тут — с жалобами... Давай подождём.

Не хотелось мне выглядеть в глазах капитана каким-то слабаком.

— Да тебя же уже качает, — с укоризной сказал тёзка.

— Это каблуки сносились, — отшутился я и уже тише, почти для себя, добавил: — Ничего, Миша, потерплю... Мы же с тобой солдаты. Надо терпеть.

Миша, точно старая няня, покачал головой — что возьмёшь с неразумного дитяти, — однако обещал не вмешиваться. Меж тем старшина по-прежнему гонял меня с одной работы на другую, не давая передышки.

На очередном разводе случилось неожиданное. Шевандо по привычке, ещё не закончились назначения на день, уже подал голос, дескать, рядовой такой-то, то есть я, — в распоряжение старшины. И тут показал характер капитан Полетаев. Нет, он и слова даже не произнёс. Медленно, не сходя с места, капитан повернул голову в сторону старшего прапорщика и удостоил того таким взглядом, что шкафообразный Шевандо как будто стал меньше ростом, уменьшившись если не до размера тумбочки дневального, то уж наверняка до размера каптёрского комода. Это надо было лицезреть. Шевандо-то считал, что он, прикормивший взводных, в роте непререкаемый авторитет. А капитан Полетаев всего одним взглядом поставил его на отведённое ему старшинское место.

Фельдшер клялся, что он здесь ни при чём, что не то что не пытался замолвить слово (ведь договорились), но даже не подходил и не обращался к капитану. Не верить ему оснований у меня не было. Да и не в характере это было Миши — лукавить. Когда он хотел подшутить, то напускал на себя чрезмерную серьёзность, супил брови — я это называл «ночевала тучка золотая на груди

утёса-великана», имея в виду выдающийся в прямом и переносном смысле Мишин нос. Но долго своего розыгрыша тёзка не выдерживал и, не в силах сдержатъ смеха, сам же первым и прыскал. А тут ни лукавства, ни подначки, ни розыгрыша. Скорее даже недоумение, что всё словно само собой разрешилось.

* * *

А в пятницу случилось и вовсе невероятное. После утреннего развода капитан Полетаев повёл меня в штаб.

В штабе я уже однажды бывал. Это случилось ещё при Фартусове. Как-то после развода майор Женцов оставил в строю меня и Сурского и поручил лейтенанту определить одного из нас для выполнения ответственной работы. Окинув того и другого своим оловянным взглядом, Фартусов слегка прищурился. На щеке Эдика адела свежая ссадина. И майор, и взводный Сурского, и наш Фартусов, конечно, догадывались, отчего может быть такая ссадина на лице у солдата, однако предпочитали не вмешиваться во внутренние разборки подчинённых: какая им нужда ополчатъ против себя угрюмых и уже достаточно независимых «дедов»? Ссадина ли эта повлияла на решение Фартусова или что-то другое, но он выбрал меня. В штабе мне поручили скучную и рутинную работу — систематизировать папки архива радиопереговоров. Точно её не мог выполнить любой из нашего взвода, даже имеющий начальное образование.

История повторилась. По окончании развода майор снова велел остаться тем, у кого высшее образование, и поручил нашему взводному отобрать одного из нас для работы в штабе. Капитан на Сурского даже не взглянул. А мне сказал, чтобы я следовал за ним.

В штабе мы поднялись на третий этаж (в первый раз я коптел в полуподвальном помещении). Кабинет, куда вошли, оказался приёмной. Лейтенант, поднявшийся навстречу, капитану кивнул, а мне велел следовать за ним. В просторном кабинете за столом сидел генерал. Лицо не крупное, отчего звёзды на погонах казались маршалскими. На моё приветствие он кивнул, а потом поднялся. Лейтенант подвёл меня к

кульману, стоявшему в небольшой смежной комнате. Следом туда вошёл генерал.

— Проведите тушью прямую, — велел генерал, голос оказался негромкий, вовсе не командирский, — наверное, он и перед строем не стайвал, всё по кабинетам сидел.

Открываю пузырёк с тушью. По привычке принимаюсь. Тушь свежая, на спирту — не химия, которая, прокиснув, шибает аммиаком. Отчего-то приходит спокойствие.

Сбоку кульмана на приставке раскрытая готовальня. Чувствуется, не новая, но сохранилась прекрасно. Инструменты на чёрном бархате просто сверкают, просясь в руку. Извлекаю рейсфедер. Настраиваю винтиком зазор, клювик заполняю тушью, используя для этого тонкое перо, чтобы не оставить ни бусинки снаружи, иначе может пойти смазь. А взглядом уже тянусь к листу. Лист ватмана, закреплённый на кульмане, сияет белизной. Прижав к нему линейку, да не абы как, а параллельно основанию, ставлю рейсфедер на нулевую отметку и веду прямую решительно и твёрдо, словно это линия собственной судьбы.

Странное дело, никто из офицеров, в том числе капитан Полетаев, даже не усомнились, что я умею чертить. Раз человек окончил вуз, он обязан это уметь. Оставалось выяснить, насколько. Ну ладно, пацанва — мои сослуживцы: для них любой выпускник вуза — инженер. Но капитан-то, но вот этот штабной лейтенант, но — наконец — генерал. Неужели и они так считают?

— Теперь циркуль с рейсфедером, — ставит генерал новую задачу.

Из циркуля извлекаю головку с грифелем, меняю её на наконечник рейсфедера. Снова заполняю тушью точёный клювик. Радиус ставлю небольшой, чтобы достало туши на всю окружность — тут ошибиться нельзя: незамкнутый круг как оборванная песня. Теперь — точка для иголки. Куда поместишь круг? Над или под линией? Решаю — над... На глазок отмеряю середину чёрного отрезка. На глазок же втыкаю иголку циркуля и, мягко касаясь клювиком листа, одним винтообразным поворотом, не сменяя руки, круг замыкаю. Да причём как? — с форсом! Круг, словно колесо истребителя, встающего на основание аэродрома, ложится точно на линию.

Позади раздаётся одобрителное покряхтыва-

ние. Генерал возвращается в кабинет. Лейтенант покровительственно следит, как я укладываю инструменты, а потом с улыбкой сообщает, что испытания я выдержал и с понедельника (это была пятница) буду работать здесь.

5

Весть о том, что у меня появился собственный генерал — ни больше ни меньше — живо разнеслась по роте. В субботу вечером, сидя в ленкомнате, я листал всё ещё не прочитанную «литературку». Тут подсел Сурский. Глаза красные, затравленные. Увидев первый раз, как Эдика купают, я даже позавидовал: надо же какое хладнокровие! Ни дать ни взять, пленённый Наполеон — даже руки на груди скрестил, всем своим видом выражая презрение к обидчикам! А сейчас — нет, сейчас на Эдике лица не было. Я попытался утешить его как мог, успокаивал. Но он не слушал меня.

— Тебе хорошо... Тебя вон в штаб... А я...

И всё это с икотой, внутренней дрожью, соплями.

От его несчастного вида у меня зачесалась спина, лицо обдало жаром. Так бывает, когда испытываешь жалость и не знаешь, чем помочь. Вроде прямой твоей вины нет, а всё равно мучительно, всё равно не по себе.

Взяв Эдика за ремень, я поднял его и увлёк в курилку.

— На, — пачка «Примы» была развалена, как капустный кочашок. С трудом выловив дрожащими пальцами сигарету, Эдик стал пристраивать её в распухшие губы, всю обтяпал, облизывая, пока вконец не изломал. Пришлось достать новую и прикурить ему. Жадно затянувшись, Эдик подавился дымом, закашлялся и согнулся в три погибели.

Довели, суки — сжались у меня кулаки. Ведь есть же закон: лежачего не бьют. Ну чего ему — в ногах ваших ползать? Или того и добиваются, чтобы ползал?..

Лежачего бьют! Да ещё как бьют! Испытал на собственной шкуре. В середине восьмого класса я попал в новую школу, которая находилась на окраине города. В классе оказался паренёк, с которым мы летом были в пионерском лагере. Как-

то на перемене мне бросилось в глаза, что его, внешне тщедушного и маленького, задирает здоровый лоб. Я, не мешкая, кинулся на выручку, оттерев того дылду от Сани. А на следующей перемене меня вызвали в туалет, сбили с ног и стали пинать. Хорошо, обувь была у всех мягкая — валенки, а то не куковал бы я теперь в армии.

Всё воскресенье душа моя была не на месте. Радость, что наконец избавлюсь от Шевандо — от и до — как-то померкла. Взвод отправился в клуб в очередной раз посмотреть «Бременских музыкантов» и вторить, косясь на краснопогонников, «Ох, рано встаёт охрана...», а я — к Мише, в его фельдшерскую келью.

— Что-то не по себе, — признался я, хотя прежде такого избегал, как тёзка ни допытывался.

Миша, ещё вчера радовавшийся больше меня, что всё устраивается наилучшим образом — как же: служба в штабе, да к тому же у генерала! — тут словно обо всём забыл и снова увидел во мне потенциального пациента. Он тотчас положил меня на кушетку и велел открыть живот.

— Здесь болит? — мял фельдшер левый бок.

— Не-е.

— А здесь? — он перешёл на правый.

— Мнёшь, так чувствую...

— Во! — победно изрёк эскулап. — Это аппендицит! В госпиталь! И немедленно! Увольнительную оформлю и буду сопровождать!

Моя кислая улыбка слегка остудила тёзку.

— Зря... А вдруг аппендицит? Ты не шути с этим. Перитонит начнётся, знаешь...

Я кивал — нельзя же быть неблагодарным, когда тебе хотят помочь, — и обещал созреть ближе к Новому году. Но... Всё произошло гораздо раньше.

6

Как всё это случилось, сам не пойму. И что больше повлияло — тем более. Всё, наверное. Ехидная ухмылка Немца за обеденным столом, словно я только что отпрыгнул от ворот ПРДЦ, когда он вильнул колёсами... Самодовольные физиономии двух раскормленных «дедков», «главных тренеров» Эдика, — там, за столом соседнего взвода, ему опять плеснули пустой суповой жидели. Угрюмый взгляд Ше-

вандо в дверях столовой. И уже на выходе — затравленные глаза Сурского.

Короче, фельдшер Миша, видя мой болезненный вид (причиной коего были душевные терзания, вечная русская вина, неведомо за что и незнамо почему), решил взять инициативу в свои руки. Он опять помял меня, сказал, что диагноз даже ёжику понятен, а не то что ему, Франчуку, военфельдшеру роты связи, выписал у дежурного офицера увольнительную и повёз меня, рефлексирующего, отстранённо-вялого и почти безучастного, в гарнизонный госпиталь. Там, дескать, посмотрят, положат в палату, назначат режим, до Нового года перекантуешься, а потом видно будет. Я ли так о себе думал в третьем лице, Миша ли внушал это, успокаивая и поддерживая мой дух, не помню. Только всё получилось — хуже некуда. То ли эскулап слишком активно намял мой живот; то ли брюхо моё выразило решительный протест против хреновой казённой жратвы, даром что столовая наша принадлежала окружному штабу; то ли я сам себе что-то внушил, хотя сознавал, что никакого воспаления у меня нет; то ли уже в госпитале ойкнул громче, чем наставлял Миша, — только не успел я глазом моргнуть, как меня взяли в оборот.

Вот я разут, раздет, вот я уже в чём мама родила, вот медсестра съёт лезвие и помазок: «Сам или помочь?» Вот я уже на каталке. Вот меня чем-то колот. Вот переваливают на операционный стол, перевязывают по рукам и ногам, вот доктор, даже не взглянув на меня, чикает по моему животу скальпелем, как я третьего дня по листу ватмана; вот по бедру моему что-то обильно течёт, что-то горячее, тяжёлое, и я дико ору, чувствуя, как из меня тянут жилы, кишки и всё, что там имеется...

Очнулся я уже в палате. Очнулся от боли. Сестра, средних лет женщина, сделала укол, боль пригасла, но не отпустила. Её молодая сменщица тайком призналась, что обезболивающие склад зажимает: «Конец года — экономия», — но смилостивилась и вколола положенную после операции дозу.

На «курорте», как расписывал госпиталь тёзка, я провёл четыре дня. Скрюченный в три погубели, ходил в столовку, на горшок, в ленинскую комнату и в библиотеку. Но главным образом лежал и, если отпускала боль, отсыпался.

А на пятый день — за три дня до Нового года — меня выписали, точнее сказать — выперли, потому что режим экономии в военном госпитале распространялся на всё, вся и всех, тем более солдат. А чего? Солдат — существо во всех отношениях подневольное. На ком и экономить, как не на нём?! А уж той экономии, само собой, найдётся достойное применение.

С трудом выбравшись из стада «Москвичей», «Жигулей» и «Волг», что запрудили площадь перед военным госпиталем, я потрохал на остановку трамвая. Главное, чтобы не расползлись швы, мысленно твердил я, придерживая бок рукой, а ещё слегка ослаблял ремень, почему-то полагая, что если швы расползутся, то ремень удержит оставшееся, не выпотрошенное содержимое брюха.

7

Пах мокрый. Сукровница сочится и из разреза, и из швов, источая неприятный запах. Это я обнаружил, когда добрался до части.

Добравшись до казармы, я передал дежурному по роте справку из госпиталя и, согласно обозначенному в ней постельному режиму, завалился в койку. Ха! Наивный человек! Не успел я смежить глаза, отходя-остывая от муторных госпитальных экзекуций, от долгого маршброска из госпиталя, как явился старшина.

Завидев бойца, то бишь меня, в горизонтальном положении, Шевандо приказал означенному бойцу встать. Все попытки мои объяснить, что я после операции, что врачом предписан постельный режим, о чём указано в справке, ни к чему не привели. Старшина заявил, что видел эту справку в гробу и в сортире. Как одна бумажка могла оказаться в двух таких разных местах, старший прапорщик не пояснил. Но я не стал уточнять сию загадку, потому что у меня просто-напросто не ворочался язык.

Стоя возле двухъярусной койки и держась за её станину, я вяло думал, что ещё одного подъёма на второй ярус мне, пожалуй, не одолеть, да поглядывал на двери офицерской комнаты. Я отыскивал глазами капитана Полетаева, а он почему-то не появлялся. Входили и выходили

другие офицеры, в том числе из караульной роты, а нашего взводного всё не было.

Тут появился ангел-хранитель. Лицо виноватое, нос повис. Видно, что удручён. Всё получилось не так, как обещал, — вот и переживает. Оказалось, не только поэтому и даже не столько поэтому. Всё вышло ещё хуже. Нашего взводного перевели в штаб, здесь он был временно, дожидаясь назначения. И перевели капитана аж сразу на подполковничью должность. Причём какую! Именно ту, на которую метил майор — командир нашей части.

— Видел бы ты Женцова! — вздохнул Миша. — После этой рокировки он рвёт и мечет. Теперь к нему ни-ни...

Известия эти обескуражили меня. С приходом капитана наметился порядок во взводе, меньше стало дёрганки. А ожидаемый уход майора снял бы, наверное, нервотрёпку и в роте. А всё вышло наоборот, то есть хуже некуда. Однако задело за живое, учитывая и мои воспалённые потроха, и больно задело другое.

Вечером я увидел Сурского. В столовую и обратно Эдик шёл без строя. На вечерней поверке он стоял со своим взводом и выглядел совсем не так, как ещё неделю назад, — в жестах, посадке головы и фигуре опять чувствовались уверенность и независимость. «Он теперь чертёжник, — шепнул Миша. — У генерала». — И отвёл глаза.

Поверка закончилась. Я рассчитывал, что Эдик подойдёт — если не справится о здоровье, так хотя бы перекинуться последними неожиданными новостями, перекурить наконец. Нет, даже не взглянул, явно избегая встречи. И тут я перехватил взгляд одного из «дедов», которые регулярно воспитывали Эдика. «Не пора ли макнуть?» — мысленно спросил я его. «Всё, отмакались», — примерно так и мысленно же ответил тот и, кажется, даже пожал плечами.

Единственная радость, которая скрасила тот день, было известие об Ильдусе Гарифуллине: нашего аккумуляторщика как отца двух детей уволили из армии досрочно.

* * *

Утром, не обращая внимания на заступничество фельдшера и ссылку на постельный режим,

Шевандо погнал меня в числе свободных от дежурства сослуживцев на околку льда. Он явно торжествовал, вымещая на мне своё унижение — ведь именно так он воспринял окорот капитана Полетаева. Всем своим видом Шевандо говорил: «Полетаев пристраивал тебя на тёплое местечко, пихал в руки карандашик, ну так получай. Вот тебе другое тёплое местечко — эта обледенелая трасса, а вот тебе «карандашик» — полупудовый ломик. Валяй калякай, писака!»

Это было 30 декабря. Я молил Бога, чтобы не лопнула, не разошлась медицинская дратва — хоть на этом-то они не экономят? — и, стиснув зубы, лупил ломиком наледь.левой рукой придерживал правый бок, чуя, как по-прежнему сочится из шва, а правой вздымал восьмикилограммовый «карандаш», вонзая его в ледяную корку. Сердце бухало в такт ударам, а глаза от крошева слезились.

Что ещё запомнилось? Одна встреча. Околку мы заканчивали возле проходной. Разломив в очередной раз поясницу, я машинально потянулся к правому боку и вдруг замер, потому что увидел... Полетаева. Замедлив шаг, капитан, прищурясь, смотрел на меня. Наши взгляды пересеклись. В глазах его я увидел недоумение, озадаченность и, кажется, даже досаду. Но осталось в душе другое — улыбка. Уже напоследок, поворачиваясь, капитан улыбнулся. И до того хорошей была улыбка — такой душевной, братской, — что я ободрился. «Всё будет хорошо! — твердил я, сокрушая лёд, — всё будет хорошо!»

А ещё подумал об Ильдусе. Может, сидит сейчас перед печуркой. Сзади жена, положив руки ему на плечи, а на коленях у него сынки — один слева, другой справа. Хорошо.

8

Последний день года начался с аврала. Штабные казармы — двухэтажное кирпичное здание — наконец приняли из ремонта и приказали заселить. Роте охраны достался верх, наша рота поселилась внизу. Таскать пришлось много — и кровати, и тумбочки, и матрасы, и оружие... Но тут, спасибо ребятам из нашего призыва, меня от больших тяжестей освободили.

Расселились мы поотделённо, то есть на от-

деление — комната. Мы с тёзкой устроились на втором ярусе рядом. Немец осел внизу возле окна. Рядом с ним залегли два взводных «черпака» — его годки. Но в целом, если говорить о расстановке боевых порядков, положение улучшилось. Там, в спортзале, все «деды» — и связисты, и караульщики — были на одной площадке и подзуживали друг друга, выкобениваясь перед молодняком, а здесь они оказались порознь и пыл их явно поуогас.

Под фельдшерский бокс выделили самую дальнюю комнату. Гагик всё ворчал, что до ремонта это была его площадь. Ещё бы. Он-то знал, что потерял — тут, на отшибе, можно было вольготно покемарить и успеть вскочить, заслышав державные шаги начальства, а теперь шиш: каптёрка напротив входа, тут не посачкуешь, как бывалочке. Зато Мише такой оборот пришёлся по нутру: бокс не на виду, соседнее помещение — пустующая ленкомната, словом, тишина и покой, как на дедовском хуторе.

Обретя маленькие Карпаты, Миша Франчук решил устроить новоселье, а заодно отметить и Новый год — год моего и его дембеля. Затворившись после полуночи в боксе, мы приняли по мензурке казённого спирта, разведя его минералкой. Закусили бутербродами с колбасой, само собой докторской, а запили лимонадом.

После выпитого потянуло на разговоры. И хоть говорили вполголоса, распалились не на шутку. А речь шла о самом наболевшем — о службе, об армейских порядках, об офицерах.

Раньше дружинник да и смерд шли по зову князя на битву и берегли своего вожа, не щадя живота. В Отечественную войну рядовой закрывал от пули командира. А мы готовы закрыть хотя бы одного из тех, под началом кого служим? Шевандо? Женцова? Кашинцева? Или нового нашего взводного, старлея Усатова, который по характеру и повадкам один к одному флегматик Фартусов?

Больше в запале, забывая подчас про боль в боку, говорил я. И слова, помимо воли, вырывались злые. Случится если, как же я пойду за вами в атаку, отцы-командиры? Я-то не согрешу — рука не поднимется, — но кто-то из ваших подчинённых вполне может разрядить вам в спину весь магазин, ежели вы сподвигнетесь и вырветесь вперёд, в чём, впрочем, глубоко сомневаюсь...

Я говорил запальчиво, даже остервенело, пока не дошёл до точки кипения. А потом вдруг осёкся. А что я знаю о них, этих людях? Попытался ли я с кем-нибудь из них поговорить — не по службе, а по душам? Хотя бы с прапорщиком Ермошиным? Ведь были же возможности и соответствующее настроение. Или даже с уехавшим на учёбу Фартусовым? Я же умел находить общий язык с персонажами своих газетных публикаций. Сам открывался, не боясь подчас выглядеть наивным и доверчивым, и они в ответ раскрывались. А тут что мешает? Шевандо сам не воевал, годами немного не вышел, но ведь, как говорил Гагик, оккупацию пережил, а действительную служил с фронтовиками. У прапорщика Ермошина отец погиб в войну, причём уже после Победы, 10 мая. Разве не поводы для расспросов и разговора?

Спирт расслабил, размягчил душу, и, как это подчас бывает, русское сердце охватило раскаяние. Наступает Новый год — надо начать его по-новому. Служба службой, но ведь все мы люди, все мы человеки, неужели не найдём общего языка? Я готов выполнить любой разумный приказ, но не смотри на меня, как волк на ягнёнка. Ободри, улыбнись при случае, покажи в чём-то пример, и я кинусь за тобой, своим командиром, и в огонь, и в воду.

С такими вот мажорными чувствами, слегка поглаживая швы, из которых уже, к счастью, не сочилось, я залёг в свою койку. На периферии сознания колготилась, правда, одна мыслишка: хороший огородник, удачливый рыбак или даже замечательный отец не обязательно может быть достойным офицером. Я отгонял её, эту мыслишку, как назойливую муху. Увы, муха та уже на второе утро обернулась слоном.

9

С нового года началась для меня новая гонка. Какие там разговоры по душам! Приказы Шевандо отсекали даже саму мысль об этом. Они сыпались на мою голову, как автоматные очереди — голову некогда было поднять. Прачечная, лакокрашочная фабрика, гарнизонный склад обмундирования, лесопилка, задворки ледового дворца, пакгаузы товарной станции, речные

причалы... — старые адреса чередовались с новыми. Так же как и характер работы: погрузка, доставка, перевалка, разгрузка, сортировка, уборка... И всё это день за днём, неделя за неделей. Отдушиной, паузой стали ночные караулы на ПРДЦ, где можно было побыть в одиночестве, подышать свежим воздухом, а не затхлостью складов, угаром лакокрасочной фабрики, угольной взвесью железнодорожных тупиков. Правда, тут, на пустыре, то и дело вспоминался Шарик...

Воспоминания о Шарике терзали меня, и я отгонял их. Но в какой-то момент вдруг понял, что Шарик, сам того не ведая, а может, и ведая, вновь спасает меня. Крутятся дни напролёт в рабочем круговороте, я подчас забывал, кто я и что я, до того выматывался. А здесь в ночном карауле ко мне вновь возвращался рассудок, здравый смысл, словно сама мысль о Шарике материализовала его, и он тыкался мне в руки, приводя меня в чувство.

Тулуп куда-то пропал. Всепогодную шинельшку продувало. Поёживаясь от холода и постоянного напряжения, я закидывал руки за спину и стискивал их на прикладе карабина, инстинктивно укрепляя ость позвоночника.

Именно здесь, в карауле, однажды закралось подозрение. Я не просто подневольный солдат, не просто чернорабочий и дармовая рабочая сила, которой пользуются не шибко чистые на руку люди. Я — шестерёнка какого-то огромного механизма, какого-то тайного синдиката, где идёт купля-продажа, мена и самое обыкновенное воровство, в сотни раз превосходящее «сидор» картошки. Удивляло только одно — как эти люди, тот же Шевандо, не боятся разоблачения, ведь сюда попадают посторонние, а я к тому же, хоть и солдат, но по профессии журналист. А потом пришла догадка: обрубает концы.

Своими опасениями я поделился с тёзкой: а ну как мне самому аукнется «мутер Волга»? Миша принял всё сказанное всерьёз. Противостоять этой машине, заключил он, мы не в силах, но улизнуть от её маховика вполне... И когда снимали швы, фельдшер добился, чтобы меня осмотрел терапевт.

Диагноз почти не удивил: истощение организма. Сам чувствовал, что сдаю. Из тех дюжины кругов, которые я от избытка здоровья и

для собственного удовольствия пробегал в учебке, сейчас и одного бы не осилил.

Врач прописал уколы. На них надо было ездить почти каждый день, и майор Женцов, недовольно выпятив свою наполеоновскую губу, распорядился освободить меня от всех работ вне части. Шевандо при этом известии побагровел, как стена нашей казармы, а зрачки его завращались, словно шпиндели невидимой циркулярки.

Прошло две недели. Глюкоза, витамины и, само собой, забота ангела-хранителя пошли на пользу. Организм мой заметно окреп, хотя, конечно, до полных кондиций, как оценил Миша, не восстановился. И всё же... Караул, кухня, уборка территории, дневальство — так-то жить-служить было можно. Я уже совсем было повеселел, ведь скоро февраль, не за горами весна, а там — дембель — и тю-тю... Но тут на мою долю выпало ещё одно испытание — меня назначили в гарнизонную похоронную команду.

10

Куйбышев — город миллионный. А пилот — профессия опасная, тем более военный. Не было, кажется, недели, чтобы кого-то не хоронили. И не только из Приволжского округа, но из самых дальних мест, где служили здешние волгари.

Февраль на Волге — сплошные метели. Сиверик, или сток, из Пугачёвских степей насквозь пронизывает твою шинельку и ширяет своими ледяными шильями до самых костей. Ноги дубеют. Сейчас бы носки, что связала сердобольная бабушка, свитер, который выслала мать... Да где там! Старшина велел всё сдать в каптёрку: «Не положено! Устав не велит!» А зимних портянок, которые как раз полагаются по уставу, не выдаёт, сука такая.

Свирепый ветер наждаком обдирает щёки. Дыхалку спирает. Ты уже не чувствуешь под собой ног, обмороженных в отрочестве. Коченеет до самых кишок твоё нутро, всё твоё существо. И только душа, как это ни странно, всё ещё трепыхается.

Помню, хоронили одного капитана. Гроб запаянный. Возле мать его, ещё не старая, жена совсем молодая и двое малых ребятишек. Особенно мучительно было видеть этих пичуг.

Ещё третьего дня папка их тискал, целовал, уходя на службу. Они щебетали, лучась ответным счастьем. А нынче их глазёнки, пронизанные ножевым ветром, с недоумением и ужасом шуряют на этот подёрнутый инеем тусклый ящик. Бабушка оцепенела, как каменная баба на одном из приволжских курганов. Мама бьётся в рыданиях, распластавшись на стылом светлом железе, которое отзывается гулкой пустотой. А они, пичуги, тихо попискивают да жмутся друг к другу, ещё не сознавая своё сиротство.

Фамилия его была Елисеев. Я почему запомнил? Его однофамилец годом раньше слетал в космос. Из космоса Елисеев вернулся. А из полёта в атмосфере, земной оболочке, другой Елисеев не возвратился.

После зачитали приказ. Преследуя нарушителя государственной границы, лётчик-истребитель использовал весь боекомплект и, чтобы не дать самолёту-нарушителю скрыться, пошёл на таран. Так звучало это официально. Штабные офицеры кое-что уточнили, информация, естественно, дошла до низов: лётчик не сам принял решение — получил приказ... Потом, уже по весне, появился плакат: Звезда Героя Советского Союза, его портрет, картинка тарана и короткая биография.

Всё так, всё в духе времени и обстоятельств: не мы — их, так они — нас. Но когда доносится песня «Ах, Самара-городок...» или мелькают волжские плёсы на экране, я всякий раз вспоминаю ту картину: стылое самарское кладбище, свирепый ветер и две малых фигурки, мальчик и девочка, сжавшиеся возле насквозь промёрзшего металлического гроба.

...За плечом моим посвист. То не свирель. Это ствол карабина, выводящий горловой зачин поминальной плакальщины. Я не даю ей разрыдаться. Звучит негромкая команда — я снимаю карабин с плеча и три раза — с интервалом — паляю в тяжёлое, как саван, небо. Всё! На сегодня всё! Если не глядеть на могилу, не видеть этих оцепенелых жестов, ломких поз и остекленевших глаз...

По частям нас развозят в фургоне — холодном, без окон, ящике. Мы, отделение бойцов из разных частей, сидим, тесно прижавшись друг к другу, судорожно глотаем стылую вод-

ку, сунутую кем-то из родни покойного, задавливаем нутряные спазмы пущенной по кругу сигаркой и молчим. О чём тут говорить?!

11

А потом я вообще замкнул уста свои, выражаясь библейским языком. Было это так. Миша-фельдшер, мой ангел-хранитель и неутомный опекун, словно искупая недавнюю вину, в один из заездов на уколы показал меня стоматологу. Военный специалист посмотрел мои зубы и заключил, что у меня неправильный прикус. Неужели за четверть века никто не заметил: ни родители, ни педиатры, ни медкомиссия военкомата? Бывает, заключил доктор. Мы разговорились — ведь на свете много чего бывает. Бывает неправильный прикус, бывает неправильная речь, хотя и выразительная, бывают неправильные стихи. Это так мы обыгрывали с доктором медицинский термин. А когда дошли до неправильной прозы — в военном госпитале, само собой, заговорили о прозе военной, — то тут наши вкусы совпали: Константин Воробьёв, Виктор Курочкин, а ещё, конечно, «папа Хэм»...

Кто кому больше заговаривал зубы, не знаю: он был немногим старше меня, а звание его офицерское тут не имело значения. Но где-то между поминанием воробьёвской повести «Крик» и романом Хэмингуэя «Прощай, оружие!», где много действия в военном госпитале, доктор предложил мне поставить на челюсти супинаторы. Я-то думал, что супинаторы — это ортопедические стельки. Оказалось, не только. Супинаторы существуют и для выправления зубов. Только, в отличие от ортопедических, которые изготавливаются из кожи, в этих применяется металл — нержавеющей сталь. Пружинные пластины надеваются на обе челюсти: верхняя выпирает зубы наружу, а нижняя, наоборот, — подтягивает их внутрь.

— Время, конечно, упущено, — заключил доктор. — Это надо было делать в детском или хотя бы подростковом возрасте. Но попытка — не пытка...

— Ну, коли не пытка, — кивнул я, — давайте...

И вот два сеанса примерок позади. Доктор, который почему-то называет себя на французс-

кий манер дантистом, ставит мне на зубы эти самые супинаторы и, предупредив, что проверка через неделю, отпускает.

Первые ощущения — неловкость. Причём не столько физическая, сколько моральная. Ведь рта не раскроешь лишний раз. Не это ли ощущение стало причиной ернической записи, которая появилась в записной книжке: «Никогда не знал, что у меня неправильный прикус. Только когда глянул на предупреждающий знак электроподстанции — половинку черепа — и сравнил с собственным профилем».

Поначалу, повторяюсь, я испытывал неловкость. Но потом вошёл во вкус, даром что не переставая ощущал вкус металла. Вот о чём я, оказывается, мечтал — об этих удилах, которыми замкнул мои уста доктор. Отпала необходимость разговаривать, отвечать и объяснять — только жестами. Челюсти обнажу, пальцем ткну, мол, видишь — и ни звука. А в ответ — лёгкий шок, подтверждаемый вытаращенными глазами. Красота! Тут тебе разом и кино, и театр, и оперетта в одном флаконе.

Неудобства, конечно, есть — особенно когда приходит пора есть. Попробуй-ка с такими нашлёпками на зубах лопать перловку или гречку, я уж не говорю о мясе, которого, впрочем, за весь армейский год так в своей миске по сути и не видел. Пища набивается в разъёмы, челюсти вязнут — ни дать ни взять колёса автомашины, буксующие в осенней размазне. Однако и тут приспособился. Несколько показательных жевков с супинаторами, потом незаметно вытаскиваю их носовым платком — и в карман.

Зато уж преимуществ! Мимо ушей пропускаешь вопросы и подначки взводной шантрапы, подкармливаемой Немцем. Молча взираешь на командира взвода, лишь кивая или качая головой, мол, какой вопрос — такой и ответ. А главное — ставишь в тупик своим категорическим безмолвием старшину Шевандо: в его церберской практике подобного случая ещё не бывало.

Миша-фельдшер, наблюдая мои взаимоотношения с отцами-командирами, с трудом сдерживает хохот. Когда его нос-утёс начинает морщиться — верный признак зреющего смехотрясения, то он переводит взгляд на свои руки, в которых всегда что-либо есть: склянка, градусник или баночка с вазелином.

По пятницам мы едем с тёзкой в госпиталь. Доктор-дантист осматривает результаты своего назначения. Особых сдвигов, похоже, нет, но надежды он не теряет и назначает осмотр на следующую пятницу.

Путь из военного госпиталя мы частично преодолеваем пешком. Миша Франчук как представитель южной культуры прокладывает его через рынок. Тут он в своей стихии. С одного лотка сливу возьмёт, на другом прилавке грушу облюбует, причём самую спелую. Там зачерпнёт жменьку тыквенных семечек. И вон то яблоко румяное не пропустит. Предпочитает Миша останавливаться возле торговых — они покладистей и сердобольней: солдатик хучь высокий, а вон який тощий, нехай. Но не обходит и мужиков, а услышит недовольство, осадит: «Та шо ты, дядьку, нарасте ще!»

Собрав дань, Миша подмигивает: гляди, мол, сколько закуски. Я не возражаю. Тут же в рыночной лавочке покупаю бутылёк портвешка, благо получил денежный перевод, и на задах рынка мы собираем небольшое застолье. А и то! Почему бы солдатику, человеку подневольному и зависимому, не устроить себе маленький праздник, тем паче что повод можно всегда найти. Можно выпить за здоровье отцов-командиров: «Здравия желаем, товарищ майор!» Можно за славу русского оружия и доблестную Красную Армию. А можно, например, за грядущее 30-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Станислава, ныне Ивано-Франковска, родного города доблестного фельдшера Миши Франчука.

Праздники в армии редкость. Всё больше будни. И служба, служба, служба...

«Службу исполняю молча, стиснув железом зубы» — это запись в моём поминальнике за март. В этом месяце особенно много привалило работы. Старшина, смекнув, что удила коняшку не освобождают от пахоты, а как раз наоборот, гонял его, то бишь меня, в хвост и в гриву.

Два дня обновлял на ПРДЦ пожарные щиты. Потом сколачивал шанцевый инструмент — лопаты, железные грабли, носилки: предстоят весенние посадки, на грядках офицерских огородов будут трудиться солдатики, лопат понадобится много. Вечера грузил в железнодорожном тупике каменный уголь — это в счёт каких-то об-

менов-договоров. Третьего дня работал на мукомолке — это поставка для нашей хлебопекарни. А нынче — лакокрасочная фабрика... В результате что ни день, то происходит расовая эволюция: я то негр, то белый, то красный, то желтокожий.

Хорошо — это было ещё в январе — спёр на вещевом складе две пары хэбэ. Одну, правда, у меня умыкнули, но за второй слежу, её стираю, сушу за укромной батареей, в ней и работаю. А то моя собственная хэбэшка до предела истончилась и выбелилась, что тебе гимнастёрка и галифе у Фёдора Сухова на туркестанском солнце. Светлее нет ни у кого во всём взводе да, пожалуй, и в роте.

Тот вещевой склад меня поразил. Размеры что у ледового дворца — и по ширине, и по высоте. Всё это пространство заставлено многоярусными стеллажами, а на них шинели, галифе, гимнастёрки, сапоги — всё солдатское обмундирование. Но самое поразительное — время их изготовления. Пуговицы на моей гимнастёрке помечены военной цифрой «44». Тридцать лет этой гимнастёрке. Меня, грешного, ещё не было на свете, а она уже лежала на складе, ожидая меня.

12

В конце марта зачитали приказ министра обороны. Дембель засиял, словно утренняя заря, манящая в светающие дали. Однако до чего же медленно она разгоралась, эта заря, словно с увеличением светового дня удлинялись и сутки.

Первыми в окружном узле связи стали отпускать краснопогонников — старослужащих из роты охраны. Это стало понятно потому, что на постах вместо них появилось много новичков. А к середине апреля в караульной роте не осталось уже ни одного «деда».

Об этом я узнал от Вити Блинова. Ставший по факту «законным дедом», Витя объявил в своей роте решительную и непримиримую борьбу с остатками «дедовщины», благо, помимо должности ротного комсорга, по весне получил звание сержанта. Понимал ли Витя, что дело это безнадежное и обречённое на неудачу? Как не понимать! Человек, прочитавший

«Человеческую комедию», «Ярмарку тщеславия», «Холодный дом» и ещё многое другое из того же ряда, не мог не сознавать, что «дедовщина» — помыкание младших старшими — на руку многим офицерам, ибо эти самые руки развязывает. Но ведь Витя, прямой наследник папы-филолога, прочитал ещё и всю отечественную классику, которая основана на идеях гуманизма, справедливости и милосердия.

Майор Женцов с русской классикой был знаком шапочно, то бишь фуражечно, и её идеи, похоже, не трогали его. Уже прилетели в поволжские края пернатые новобранцы, уже защитным и изумрудным камуфляжем оделись парки и леса, уже брызнула шрапнель первоцвета, а ни командир роты, ни замполит, ни взводные о приказе министра словно и не слышали.

Наконец в последних числах апреля случилось первое увольнение. Все считали, что раньше других домой отпустят пятерых «дедов», которые по осени работали на обустройстве запасного КП. За своевременное выполнение поставленной задачи командир части посулил десятидневный новогодний отпуск, и они пахали сутки напролёт. КП вошёл в строй досрочно, ударники уже готовили отпускные чемоданы. Но в канун Нового года Женцова постиг удар фортуны. Лишение майора долгожданной должности рикошетом ударило по ударникам. В отпуск они не съездили. И потому вправе были рассчитывать если не на досрочный, то хотя бы своевременный — чик в чик, как это называлось, — дембель. А что вышло?

Первым на гражданку отпустили... Сурского. Женцов, понятное дело, был тут ни при чём. Распорядился генерал, у которого работал Эдик. Однако нам-то от этого, особенно тем пятерым, было не легче. Массами при объявлении приказа мигом завладела одна непреодолимая идея: всем захотелось окунуть Сурского прямо в парадном мундире. Честно признаюсь, и у меня руки чесались. Однако привести замысел в исполнение никому, к сожалению, не довелось. Сурский, предвидя такой оборот, свои вещички заранее перенёс в дежурку штаба. Построение роты уже вторую неделю проводилось на плацу. И едва прозвучала команда «разойдись!», как Эдик опрометью кинулся в штаб. Там он отсиделся,

сколько понадобилось, а потом, как передавали караульные, на попутной машине выехал за ворота ОУС, и след его, как говорится, затерялся.

Вопиющая несправедливость дала повод для коллективного бунта — «деды» напились. Двоих из них закатали на «губу». Остальным увольнение в запас затащили ещё на неопределённое время.

7 мая — День радио, профессиональный, считай, праздник. Ожидание приказа достигло предела. Майор Женцов, почуяв напряжение во вверенных ему войсках, наконец сделал жест и двоих отпустил. Это были двое из тех пятерых, что вкалывали по осени на КП. «Я вас больше не задерживаю», — через губу процедил майор. Это всё, что он соблаговолил изречь. Ни «благодарю за службу», ни «спасибо за ударную работу» — ни-че-го! «Я вас больше не задерживаю». И всё! Один из уволенных стоял за моей спиной. Тихо, с какой-то невыразимой усталостью, он процедил: «Во, сука!» — и сплюнул. Как поминали отца-командира те двое, что сидели на «губе», не знаю. Но зато видел пятого из ударников, которого тоже не отпустили. Он сидел в курилке и без конца смолит «Приму», пряча за сизым дымом полные слёз глаза.

Мой армейский год закончился 10 мая. Я имел законное право требовать увольнения. Но пока не отпустили всех двухгодичников, даже не рыпался.

«Деды» покинули пределы части к середине месяца. Выходили они за ворота в обычных парадках — за этим специально следил дежурный офицер: всё должно быть по уставу, — а через четверть часа их было просто не узнать. Где-то в парадных подъездах, а может, на квартирах у знакомых дембеля преобразались до неузнаваемости и, что называется, с ног до головы.

Вот портрет стандартного дембеля. Голову венчает офицерская фуражка с высокой тульей и новенькой солдатской кокардой. В погонах жёсткие вставочки, а потому плечи — не плечи, а рамёна. Буквы «СА» из латуни, из того же материалы лычки, коли присвоено звание. Петлицы с «курочками» — эмблемой ВВС — обштукованы золотой канителью. А аксельбанты! Такими не могут похвастаться не то что бойцы кремлёвского полка, а даже прис-

нопамятных времён гусары. Кителёк на нём в обтяжечку, брючки с клинышками, расширенные внизу по последней моде. На ногах коричневые офицерские полуботинки. Словом, красавец! Но это ещё не все. В руке красавца-дембеля фибровый чёрный чемодан, на нём наклейки с указанием места службы и, разумеется, по-английски: «Samara». А внутри чемодана — святая святых! — неперменный дембельский альбом, отражающий боевой путь его владельца-ветерана.

К слову сказать, альбомы двух взводных дембелей были частично украшены моими рисунками. Чёрт меня дёрнул в своё время то ли что-то черкнуть, то ли проговориться — вот это «вышивание» мне боком и вышло.

13

17 мая, когда из законных дембелей, кроме меня, во взводе да и всей роте никого не осталось, я отправился к замполиту. Доложил, получил разрешение обратиться.

— Товарищ капитан, — сказал я, для доверительности добавил: — Юрий Михайлович. Мой год уже вышел. Неделю служу лишку. Когда отпустите?

И тут капитан Кашинцев, сухой, как указка в его руках, меня огорашивает:

— А после дембельской работы.

Я хлопаю глазами, ничего не понимая:

— Какой дембельской?

— Оформить ленинскую комнату.

— ?..

— Освежить наглядную агитацию.

— ?..

— Обновить все стенды.

Первая мысль: «Он что, с ума сошёл или так шутит?» Вторая: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день?» Третья: «Чёрт меня дёрнул открыться с рисованием, умелец народный!» А под занавес укором в глазах: «А где же ты раньше-то был?.. Сказал бы в марте, когда объявили приказ, да хотя бы в апреле, я уже всё бы, наверно, сварганил. Так нет — решил поизгаляться».

С трудом сдерживая своё ретивое, тихо говорю, что это же огромная работа, она займёт несколько недель, моё увольнение затянется,

а это прямое нарушение Конституции.

И что он мне отвечает, наш комиссар?

— В армии нет Конституции. Есть устав и беспрекословное подчинение командиру.

Это произносится бесстрастным голосом партийного лектора — не исключаю, что таким голосом говорят кастраты.

Диалога не получается. Что делать? Обращаться к командиру? Себе дороже: Женцов, скорее всего, и придумал для меня такой финал. А к «заданию замполита» прицепит какой-нибудь довесок: писать с себя конный портрет он, понятное дело, не потребует, но обновить наглядную агитацию в своём штабе или на новом запасном КП — с него станется. В штаб узла? Но к кому? К капитану Полетаеву? Поезд ушёл. К «моему» несостоявшемуся генералу? Тем более.

Осмыслив положение, прихожу к выводу, что выхода у меня нет.

— Ладно, — чежу угрюмо, — для работы мне понадобятся, — загибаю пальцы, — бязь, ватман, тушь, гуашь, кисти, клей, плакатные перья...

Ответ замполита меня ошарашивает не меньше, чем начало.

— Ищите, — отвечает он.

— Где? — вырывается из меня помимо воли.

— А где хотите.

«Ну и ну! — говорю про себя. — Это при моём-то солдатском жалованье в 3 рубля 80 копеек!»

Но, оказывается, говорю я не про себя, а вслух.

— А перевод? — отвечает на это замполит.

Вот оно что! В феврале я получил денежный перевод — «тринадцатую зарплату» из заполярной геологоразведки. Награда нашла-таки героя! И сумма её, видать, встала кое-кому поперёк горла. Эх вы, господа офицеры! Что ж вы так мелко плаваете-то?! Ну, недовольны вы вашим офицерским довольствием — вашими «выслугами» и допайками — так мотайте в Заполярье давать стране угля или нефти!

Хотелось мне выплеснуть всё, что я думаю, завершив тираду какой-нибудь народной мудростью, да только опять сдержался, расценив, что нет смысла метать бисер...

Короче, чтобы скорее получить вольную, мне надо было как можно быстрее выполнить дембельскую работу, и, собрав в кулак волю, я взялся за дело. Прежде всего выписал уволь-

нительную — тут замполит волыннить не стал — и полетел в магазин канцтоваров. Накупил красок, кистей, клея... Цена ватмана меня озадачила. А прикинув, во сколько обойдётся бумага в целом, я призадумался. Эдак не хватит денег на авиабилет. Уж больно не хотелось мне возвращаться домой поездом — это же двое, а если с накладками в расписании — и трое суток. Я непременно должен был лететь самолётом и для этой цели отложил деньги — они хранились в сейфе у Вити Блинова.

Что же делать? В глаза бросились портреты членов Политбюро. Большой формат, отличная глянцевая бумага, тыльная сторона не просвечивает. Чем не замена? К тому же ватман при сгибе может покоробиться, а эта, если намочить её, обтянет планшет, как ноги стилиаги — намыленные «дудочки». Но главное, что меня подвигло на замену, — цена. В сравнении с ватманом эти листы стоили мизер: весь комплект меньше листа ватмана. Я скупил всё — все комплекты членов Политбюро, какие имелись в магазине, и с авоськами, наполненными покупками, поспешил назад.

Страда моя дембельская длилась шесть дней и шесть ночей, аки страда Творца. Шесть дней и ночей я созидал в ленинской комнате советский мир — Ленин, партия, комсомол, вооружённые силы, — размахнув его на все четыре стороны света, то бишь четыре стены. Резал, клеил, натягивал смоченные листы на деревянные рамы, корябал плакатными перьями и малевал кистями, снова клеил, резал и чертил...

Трудился я, закрыв шторы, при электрическом свете и не замечал ни дня, ни ночи. На час-другой, когда сил уже не оставалось, ложился на стулья, да и то затем, чтобы унять сердцебиение, сна всё равно не было — лишь короткое забытьё. От напряжения и усталости каменели мышцы спины, спазмами сводило кисть правой руки и пальцы, слезились и кровятели глаза.

Выручал, как всегда, ангел-хранитель. Миша закапывал мне в глаза капли, пичкал гематогеном и аскорбинкой, массировал спину и плечи, а ещё регулярно подкармливал, таская в судках еду, потчевал лимонадом или чаем с ватрушками, которые покупал в солдатском ларьке.

Ленинскую комнату я держал на замке. Пус-

кал туда только тёзку. Он единственный видел, как я кромсал ножницами членов Политбюро. Никто, кроме него. А то бы кипиш поднялся тот ещё. Это я мысленно посылаю привет отцам-командёрам. Тебе, Женцов, и тебе, Каштанка. Молите Бога или Карла Маркса, что я не черкнул обо всём этом куда-нибудь в ГлавПУР. Конечно, 74-й не 37-й, а ровно вдвое больше, но по партийной линии — за недогляд и утерю идеологической бдительности — тебя, Каштанка, и тебя, майор, взгрели бы только так! Ну, да я ведь незлопамятный — живите!

На седьмой день процесс творения был завершён. Стенды, опоясывающие ленинскую комнату, так сверкали яркими вырезками из «Огонька», «Смены», изречениями вождей и военачальников, огненными девизами и призывами, что были приняты замполитом без единого замечания. Он, похоже, даже прибалдел от этого зрелища.

* * *

Утром на построении майор Женцов огласил моё имя. Я вышел из строя.

— Я вас больше не задерживаю! — процедил он. Других слов в лексиконе Женцова, видимо, не было. Замполит Кашинцев при этой сцене отвёл глаза — ему было неловко за командира, но смягчить майорский тон он не решился даже и после развода.

«Ну и хрен с вами!» — ответил я, правда, мысленно, и, получив в канцелярии документы, вышел за ворота.

Миша проводить меня далеко не мог — у него предстояла госпитальная проверка готовности фельдшерского пункта к возможному летнему карантину — довёл только до вахты.

Впрочем, простились мы с ним ещё накануне, когда замполит принял мою работу. Вечером я побрился и вручил ангелу-хранителю единственное моё материальное достояние — электробритву. «Харьков» с плавающими ножами был предметом зависти всех наших «дедов», которые не мытьём, так катаньем пытались заполучить мою электробритву. Поэтому Миша даже смутился, принимая подарок. Но это было ещё не всё. Тёзку ждал сюрприз: в футляр под

бритву я положил четвертную купюру. Зная Мишину слабость — он сластёна, — сунул бы и больше, да денег осталось впритык, только-только на дорогу. «Пошлю на День авиации, — решил я, — в августе, а то и с первой зарплаты».

Миша стоял возле ворот на полусогнутых, сутулый, долговязый, такой большой и неуклюжий, что у меня аж повлажнели глаза. Я вернулся и обнял его.

— Спасибо, братец! За всё, за всё!

Миша хлопал ресницами и шмыгал своим большим носом.

— Ничего, — твердил он, — скоро и я... Всего полгода...

В поле зрения попал Немец, — видать, возвращался с ПРДЦ.

«Сколько за эти полгода может всего произойти», — подумал я и мысленно обратился к небесным силам, чтобы оберегли тёзку, моего ангела-хранителя, от напастей и зла.

* * *

За ворота воинской части я выходил налегке: в левом кармане записная книжка, в правом — военный билет и — всё. Никаких чемоданов, никаких дембельских альбомов, никаких аксельбантов и вставочек.

Я шёл, а в груди моей занималась торжественная песнь. Я выдержал этот год, я одолел его! И словно в подтверждение услышал пушкинскую здравицу: «...И свобода вас встретит радостно у входа!»

Свобода встретила, невидимая дева, и слегка вскружила голову. На пути к остановке автобуса, который должен был доставить меня в аэропорт Курумыч, я расстегнул пуговицы кителя и отстегнул удавку галстука. Как задышалось! И тут — надо же! — навстречу генерал. Лампасы я увидел раньше погон. А потом и узнал его. Это оказался тот самый генерал — «мой» и «несбывшийся», с небольшой головой и оттого, казалось, большими, словно маршальскими, звёздами. Будь я допризывником или даже «салабоном», наверное, растерялся бы. А теперь нет. В считанные мгновения замкнул резинку галстука, застегнул все пуговицы на кителе и вовремя отдал честь. Что значит армейская выучка: «Со-

рок пять секунд! Время пошло!» Высколила армия за год, ничего не скажешь. Генерал чуть снисходительно, но этак по-отечески усмехнулся, и в ответ — честь по чести — козырнул.

Послесловие

Мой армейский мундир, который я надевал всего два раза — на присягу да на дорогу домой — мать передала своему брату-фронтовику. Когда дядька вернулся с войны, ему было столько же, сколько и мне, когда я вернулся из армии. Через полтора десятка лет дядьку в этом облачении и похоронили. Было это весной 1992 года. Сначала случился пожар, который спалил его сельский домишко, лишив какого-никакого скарба, а потом так же в одночасье сгорела вся наличность, хранившаяся на сберкнижке. Вот в этом мундире, к которому дядька пришел три нашивочки за ранения — две красные да одну жёлтую, — его и уложили в домовину.

И ещё. Я не стал бы ворошить прошлое и вообще обращаться к армейской теме, если бы не печаль-тревога. За прошедшие с моей службы десятилетия, которые напрочь изменили государственность и границы державы, армия наша — увь! — не изменилась. Поменялась форма, особенно офицерская, где царит американский стандарт, но содержание армии с её бедами-бо-

лезнями осталось прежним: неуставные отношения, «дедовщина», мордобой, мздоимство и воровство. К этому набору прибавились тотальная, как на «гражданке», коррупция и, самое печальное, — симуляция, когда от армии «косят» тысячи молодых людей. Выпестованные в тепличных условиях, «маменькины сынки» едва не с пелёнок чураются трудностей мужской жизни и к призывному возрасту нередко переходят в «межполовой разряд», становясь объектом для педерастов.

С тревогой и горечью думаю о судьбе Родины: кто же защитит её, если грянет роковой час? Уповаю на милость Божию да на нормальных парней, которые ещё вырастают на просторах России. Вот им, настоящим мужикам, которые, несмотря ни на что, а подчас и вопреки всему, служат в армии, я и посвящаю эту скромную повесть.

*Вам, сынки!
Родине больше
не на кого надеяться, кроме вас!*

*При оформлении использована
иллюстрация, предоставленная автором*

Михаил Константинович ПОПОВ —

уроженец Русского Севера.

*Автор двух десятков книг — прозы, публицистики,
литературоведения, книг для детей и юношества.*

Лауреат премии СП России «Хранитель народной памяти»

им. Бориса Шергина.

Член Союза писателей России.

*Главный редактор литературного журнала
«Двина» (Архангельск).*

В «Севере» печатается с 1990 года.

